



ВОЛОГДА-XXI ВЕК



ЗА ВОЛОГДОЙ, ВО МГЛЕ

СЕРГЕЙ БАГРОВ

*Повествование о жизни
Николая Рубцова*

«Память сердца»

ЗА ВОЛОГДОЙ, ВО МГЛЕ

СЕРГЕЙ БАГРОВ

*Повествование о жизни
Николая Рубцова*

Вологда
«Книжное наследие»
2006

«Повествование о жизни Николая Рубцова» написано известным вологодским писателем Сергеем Петровичем Багровым. Его с известным вологодским поэтом связывала дружба еще с далекого 1950 года, когда они учились в Тотемском лесном техникуме Вологодской области. Много позже, когда поэта не стало, Сергей Багров посетил Емецк, Няндому и Красково, где познакомился с очевидцами жизни Николая Рубцова, а также разыскал отдельные документы, проливающие свет на биографию его близких. В результате появилась первая часть повествования «Детские годы». Продолжением стала часть «За Вологдой во мгле», написанная на основе многочисленных встреч автора с Николаем Рубцовым в Тотьме и в селе Никольском в 1963—1965 годах. И заключительная часть «Надвигается вечер» повествует о последних годах жизни великого поэта, о его прозрениях и тревогах, о неумении быть управляемым и послушным, о расплате за доверительность и любовь.

«Повествование о жизни Николая Рубцова» выходит в серии «Память сердца» и адресована тем читателям, которые не мыслят высокой поэзии без имени Николая Рубцова.

***Издание осуществлено при финансовой
поддержке Департамента культуры
Вологодской области***

© Багров С. П., 2006.

© Вологодская областная
универсальная научная
библиотека, издательство
«Книжное наследие», 2006.



ДЕТСКИЕ ГОДЫ КОЛИ РУБЦОВА

Сердце ласточки

Детство Коли Рубцова пройдёт в неизбывной любви к животным и птицам, травам, солнышку и свободе. Закрой его в комнате, где нет окон, и сердце его, как у ласточки, разорвётся от несвободы. С малых лет, даже месяцев, как посмотрит он с маминых рук на ромашковый берег Емцы, на её поёмы, церкви, лодки и тополя, так и выплеснет восторг, так и дёрнется махоньким телом, точно знает, что сияющий воздух его не обидит, примет в лоно своё и, качая, закружит в лучах светоносного дня.

А ещё ему будет по нраву сидеть, как матросу, в высокой корзине, которую старшие сёстры отправят с плота по воде, наблюдая, как крошечный брат запыхтит, загудит, объявляя себя настоящим архангельским пародом.

Емецк — бывший райцентр. Дома его, спрятавшись в тень тополей и берёз, разбежались по левому берегу Емцы. Здесь живут сплавщики, лесорубы, служащие контор, механизаторы и доярки. Огороды. Заборы. Полуразрушенный храм. Шагах в сорока от старинного тракта Архангельск — Москва по улице Горончаровского, 57 возвышается, будто петровская крепость, двухэтажный, с двойным мезонином, серый орсовский дом. Три окна мезонина и десять окон квартир глядят с пологого склона на улицу Первое мая. Дальше — гладь реки, полоскальные плотики, лодки, причальные цепи, мост на бетонных опорах, зелёная пристань и еле приметные в трёх и пяти километрах на том берегу церкви Рато-Наволка и Зачачья.

Дом похож на сурового старика, у которого превосходная память, и он запомнил все свои дни. Третьего января 1936 года здесь родился Коля Рубцов.

Отцу будущего поэта Михаилу Андрияновичу Рубцову шел 37-й год. Он занимал должность начальника ОРСа Емецкого леспромхоза. Работа его была разъездной. Все время ему приходилось ездить по лесоучасткам, организуя там котлопункты, пекарни и магазины. Детей не видел подолгу. Поэтому все о них хлопоты и заботы пали на плечи его жены. К моменту рождения Коли

Александре Михайловне было 35 лет. По отзывам тех, кто помнит ее, была она женщиной замкнутой, скромной и бескорыстной. Жила в семействе Рубцовых и бабушка. О Раисе Николаевне известно лишь то, что редко куда она выходила из дома, так как была на последнем году слепой. Материально семья жила трудно. На одного работающего приходилось семь иждивенцев. Несмотря на это, старший Рубцов слыл человеком гостеприимным. Бывшие сослуживцы, с кем Михаил Андриянович работал в ОРСе, рассказывают, что был он простым, сердечно-доверчивым, справедливым.

Каждый, кто приезжал по делам работы из лесопункта в райцентр, находил у Рубцовых не только обед или ужин, но и ночлег.

В Емецк семья переехала за три месяца до рождения Коли. Жить бы, казалось, ей здесь постоянно. Однако в июле 1937 года Михаилу Андрияновичу пришлось предписани — сдать дела и переехать на новое место работы — в город Няндому.

Первое свое путешествие маленький Коля, естественно, не запомнил. Вместе с семьей он отправился в путь. Сперва до Архангельска пароходом. Потом до Няндомы поездом, стук колёс которого он, разумеется, слушал. Слушал с наивной восторженностью ребёнка и, наверное, всё вокруг представлялось ему весёлой игрой. Тогда как игра была первой дорогой, за которой последуют все остальные его перегоны тревожно намеченного пути.

У самой железной дороги

В Няндоме, в предощущении воли маленький Коля уже обойдётся без матери и сестёр. Первый свой выход в мир городских переулков осуществит он на третьем году. От Советской улицы — к улице Володарской. Таким маршрутом пропутешествует, преследуя беленького щенка. Но щенок побежит, уводя его с каждым шагом всё дальше и дальше. Он его не поймает. Хотя и бросится следом за ним в придорожную рощицу краснотала, где заблудится и, заплакав, усядется на пенёк, а потом, разморённый, свернётся калачиком и заснёт.

Его разбудит сестрица Надя и унесёт, зажмуренного, домой, где при виде родни он вздохнёт, засияет глазёшками, заволнуется от того, что его здесь все ждут, что сейчас его дружно усадят за стол, а потом он нырнёт под тёплое одеяло и опять, как вчера, станет слушать сестёр, как они будут петь свои чудные песни.

В Няндоме жили Рубцовы по двум адресам. Вначале в хорошем, уютно обставленном доме. Но после ареста хозяина жизнь семьи круто переменя-

лась. Из уютной квартиры велено убираться. Чтоб духу здесь не было через сутки! И вот, в разгаре зимы, не имея ни средств, ни имущества, оказались Рубцовы среди сугробов. С грехом пополам удалось вселиться в гнилое, барачного типа жилище. Мало кто от Рубцовых не отвернулся. Даже в девочках Наде и Гале, учившихся в средней школе, узрели опасных людей, с которыми надо быть настороже. Наде, имевшей редчайший песенный дар, воспретили петь песни как на концертах, так и на спевках. Надя была самой старшей и, чтобы как-то помочь семье выбиться из нужды, устроилась счетоводом в РАЙПО. Но вскоре она заболела и умерла.

Документ об этом после нелёгких поисков я обнаружил в Няндомском ЗАГСе в одной из унылейших книг записей актов о смерти. Давно забытое горе семьи Рубцовых глянуло на меня с двух шершавых страничек, где было сказано, что Рубцова Надежда Михайловна умерла 30 апреля 1940 года в возрасте 17 лет от менингита. Здесь же указано место её работы и что проживала она по улице Советская, дом 1-а. И ещё увидел я роспись матери — семь крупных расшатанных букв. И по ним представил дрожащую руку скорбно плачущей женщины, которая еле держится на ногах.

Скорбь, растерянность, слёзы и угрюмо ступающий к горизонту долгий ряд не пригретых житейской удачей дней. Беда ударила по семейству, где старшей теперь после матери оставалась десятилетняя Галя.

Как они все сумели пробиться через нужду? Совершенно не представляю... Былое семьи Рубцовых тут же позвало меня посетить окрестность, где проходило детство поэта.

Насыпь железной дороги. Невдалеке от неё стоял деревянный маленький дом с четырьмя оконцами без карнизов, огородиком, узким проходом через калитку и зелёным кольцом подзаборной полины и череды. Таким запомнили этот домик местные старожилы.

От насыпи начинаются две параллельные улицы — Советская и Володарская. В их первом квартале стоят барачного типа дома, аптека, склады, гараж, несколько зданий милиции, тесные дворики, свалки житейского хлама, дровяники и два обнесённых проволокой забора. Разумеется, многое раньше было иным. И дома не те. И улицы были ещё не покрыты асфальтом. И травмурава подползала к тележным дорогам, и ребятишки играли здесь в ляпы, лапту, тряпичный футбол и успрятки.

Замыкает квартал Парковый переулок. Он уводит на склон, на котором — елово-берёзовый лес. Прежде лес, а сейчас — обихожанный парк со скульптурами деятелей культуры, эстрадной площадкой и стадионом. Где-то вблизи протекает речка Бобровка.

Дом Рубцовых стоял у самой железной дороги. Грохот составов сюда доносился и ночью, и днём. Прохаживаясь под ветвями ещё не зелёных майских деревьев, на груде заброшенных шпал я увидел парнишку в большой офицерской фуражке. Приподымая лаковый козырёк, мальчик смотрел на мчавшийся поезд. Мелькали вагоны. В окнах — белые пятнышки лиц. Всё это, наверное, отвечало приподнятым думам мальчишки и радостно звало туда, куда убегали вагоны.

Вероятно, и маленький Коля с таким же волнением в сердце глядел на стучавшие бандажами колёс поезда. Если влево они бежали — значит, в Архангельск. Если вправо — в Вологду и Москву.

11 месяцев просидел Михаил Андриянович в предварительной камере, ожидая суда, которого так, кстати, и не дождался, ибо на редкость честное по тем временам дознание вины за ним не нашло, и его отпустили. Во всё это время на Александре Михайловне скорбно лежало тяжёлое бремя забот. На руках у неё оставались: 11-летняя Галя, 9-летний Алик, 4-х и 3-летние Коля и Боря. Как смогла эта скромная христианка отвести от детей холод, голод, лишения и обиды? Наверное, кто-нибудь помогал. Русь во все времена стояла на праведных людях, чьи сердца откликаются на беду. Видимо, кто-то из этих светлейших и помог Рубцовым выбраться из беды.

Аленький твой цветок

Вдоль забора трава. Я хожу по ней под неслышной листвой тополей. Ничего мне не надо. И все-таки шарю ногами по пыльной траве, точно хочу отыскать припрятанное богатство, которое здесь оставил покойный поэт.

Возле кособокого в заборе столба, раздвинув стебли травы, я увидел на хрупенькой ножке пятикрылую маленькую звезду. Травяная гвоздика! Этот алый цветок никто не выращивал, однако он рос в таком глухом тайничке, что мнилось, будто его берегла от чужого взгляда чья-то участливая рука.

Ведь когда-то такую же точно гвоздику примерно на этом же месте сорвал шестилетний Коля Рубцов. Сорвал, чтобы с братьями и сестрой проводить в скорбный путь к городскому кладбищу мать.

Умерла Александра Михайловна 26 июня 1942 года от хронического воспаления сердца. Узнал я об этом из книги актов о смерти, в которой прочел и адрес, где жили Рубцовы. Прочёл и роспись фамилии заявившей — Наместникова.

В Вологду переехали Рубцовы в январе 1941 года. Сначала жили они в Прилуках, арендовав у местной хозяйки маленький дом. Потом устроились в городе, на улице Ворошилова, 10. (Теперь — улица Ворошилова, 32). Дом деревянный, в два этажа, нижние окна вровень с землей. Здесь, в полутемной, вечно сырой, по весне заливаемой снежными водами комнатухе, которую им сдала спивавшаяся хозяйка, и стали жить они в качестве квартирантов. Михаил Андриянович работал в Кушубе начальником военторга и дома бывал очень редко. Кладовщик военторга Алексей Александрович Наместников, человек открытый и честный, вскоре стал ему лучшим другом. Через мужчин подружились и жены. Жили они в квартале друг от друга. Был у Наместниковых собственный дом. Сюда, на улицу Урицкого, 54 маленькие Рубцовы приходили то с матерью, то без неё. Здесь их могли накормить, приласкать и пустить по холодной погоде на русскую печь, где они часто и засыпали. А весной, когда натаившая вода заливала пол в квартире Рубцовых, да так, что спастись от неё можно было лишь на кровати, всей семьёй перешли к Наместниковым в их дом. И жили здесь две недели, пока не ушла из квартиры вода. Александра Михайловна у всех, кто её знал, вызывала к себе постоянную жалость. Была она маленькой, полной, с болезненно-вялым лицом и ласковыми глазами. Уравновешенная и кроткая, она никогда не повышала свой голос. Со всеми была приветлива и ровна.

Михаил Андриянович имел характер горячий. В работе горел. «Шибко партийный, — вспоминает его племянница Надежда Михайловна Шербинина. — За партию горло готов перегрызть». Легко возбудимый, он был переменчив в своих настроениях, и поэтому кому-то запомнился бесшабашным озорником, кому-то — широкой руки хлебосолом, кому-то — задумчивым молчуном.

Начавшаяся война для семьи Рубцовых стала проверкой на жизнестойкость. В сентябре 1941 года родилась дочь. В память о старшей назвали девочку Надей. После родов Александра Михайловна занемогла.

Михаил Андриянович, хотя и был на броне, дома считай что не находился. Война прибавила втрое хлопот, и он проводил свои дни в бесконечных дорогах. Александра Михайловна медленно гасла. Дети хотели есть, есть и есть.

Кабы не Анна Васильевна Наместникова с её сострадательным сердцем и бескорыстной душой, то неизвестно, кто бы из младших Рубцовых выжил в те беспощадные дни. У Наместниковой была собственная семья. Было немало своих трудностей и печалей. Однако она помогала Рубцовым, чем только могла. Её постоянно можно было увидеть идущей на Ворошилова, 10 с таркой в руке. А в тарке той то наскоро сваренная похлёбка, то столовая пшённая каша, то овощи с огорода.

В мае 1942 года Александру Михайловну увезли в больницу, где она через месяц и умерла. Однако раньше, чем Александра Михайловна, умерла её младшая дочка Надя, прожив в неприютной квартире без матери ровно два дня.

Нет матери. Нет отца, который в командировке. Одна лишь Анна Васильевна, взвалившая на себя заботы о детях, которые были растеряны и не знали, какая им жизнь откроется дальше.

Вот откуда у всех четверых пошло преждевременное взросление. Вот откуда явилась поэту картина, которую он четверть века спустя воскресит точно найденными словами:

*Домик моих родителей
Часто лишал я сна.
— Где он опять, не видели?
Мать без того больна. —
В зарослях сада нашего
Прятался я как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.
Этот цветочек маленький
Как я любил и прятал!
Нежил его, — вот маменька
Будет подарку рада!
Кстати его, нестати ли,
Вырастить всё же смог...
Нёс я за гробом матери
Аленький свой цветок.*

Сейчас на месте того жилища, где обитали Рубцовы, стоит пятиэтажный панельный дом. В тесном дворе его вдоль забора растут тополя. Уходя отсюда, я неожиданно вздрогнул. Вверху сидели, скрытые зеленью веток, пятишестилетние пареньки. Я спросил:

— Это зачем вы туда залезли?

— Играем в индейцев!

Коля с братьями тоже бы мог, как ребята, играть в индейцев, подумалось мне. Однако настала пора разлуки. Разлуки с Галей и Аликом, Вологдой, домом и тихим задворьем, где Коля прятал свой драгоценный цветок.

Галю взяла к себе тётя Соня. Алика приняли в ближний детдом. Одна из соседок вознамерялась Колю усыновить. Но тут в квартире, где жили Рубцо-

вы, случился скандал. Хозяйка куда-то девала свои продуктовые карточки. Не признаваться же ей, что она потеряла их, будучи пьяной. Потому и свалила на первого, кто попался ей на глаза. И это, к несчастью, пало на Колю. Потрясённый таким беспощадно-бессовестным обвинением, мальчик тут же сбежал неизвестно куда. Возвратился через неделю, весь ободранный и голодный. Когда спросили его: «Где был?», ответил: «В лесу!». «А чем питался?». «Дудками и корнями».

12 июля вместе с Борей его увезли в Красковский детдом. Пожил день. Пожил два. И не выдержал скуки, общины и того, что всё здесь сиротское и чужое, и, глядя на ночь, тихонько ушёл. До Вологды около 18 километров. И взрослый не каждый бы их одолел. А тут недоростыш.

Целое лето он жил неприкаянно — то у знакомых отца, то у тётушки Сони, где обитала ещё и Галя. И было побито горем парнишке в грозном мире военного лихолетья заброшенно, робко и одиноко. Пуше всего он боялся, что снова его повезут в тот самый детдом, откуда он незаметно ушёл.

Однако когда его посадили на загремевшую по булыжной дороге телегу, почувствовал: больше уже не сбежит. Некуда было бежать.

В бывшей усадьбе

Судьбу свою ни один из 164 воспитанников Красковского детского дома не выбирал. Определила её им война, отобрав от каждого самых близких людей. В списке против фамилий юных детдомовцев чаще всего встречается запись: «Мать умерла. Отец в Красной армии». Такая же запись была и у Коли с Борей Рубцовых.

Многокомнатный, в два этажа, с большими окнами дом, где когда-то жил наследник дворянской усадьбы, стал обителью скорбных, больных, истощённых, напуганных и порой даже раненных малышей. Их привозили из Вологды, Тихвина, Ленинграда. Долгие дни глаза детей видели страшное. Директор детдома Евдокия Михайловна Киселёва, медсёстры и няни делали всё, чтоб вернуть малышам не только здоровье, но и потерянную улыбку.

Пруд, постоянные сумерки под листвой помещичьих лип, огород с зелёными грядами овощей, поле овса, две лошади, птичник, коровы в прогоне, кирпичная баня — всё это принадлежало детдому, и малыши, выходя на прогулку, мало-помалу стали испытывать любопытство к красковским местам. И даже хотели понять: что за ними скрывается дальше? Может, поэтому кой у кого рождалась зависть к юному возчику Поливанову Васе, который на

лошади Сильве отправлялся то в Вологду за товаром, то в лес по дрова, то пахать огородные гряды.

Всё было — и горькое, и болезненное. Но было и доброе, принаикавшее к сердцу детей, как целительное лекарство.

Бывшие воспитанники Красковского детдома Евгения Романова с Валентиной Межаковой, вспоминая Рубцова, рассказывают, что был он мальчиком резким. И если его незаслуженно обижали, то мог надерзить хоть кому. Однажды Рубцов опоздал на ужин: катался под наблюдением возчика Поливанова на телеге, а после смотрел, как Вася ставил в каретник коня. Пришёл всех поздней и уселся за стол в ожидании чая и бутерброда. Дежурная рассердилась на Колю и чай ему принесла только после того, как все ребята, отужинав, начали расходиться. Поставила перед ним стакан чуть живого, почти холодного чаю и язвительно улыбнулась:

— Кто гуляет — тот воду хлебает.

Рубцов встрепенулсч, точно его хлестнули ремнём.

— Сама хлебай! — и так шарахнул рукой по стакану, что тот вертком полетел со стола, обливая халат у дежурной брызгами чая.

Где-то за тысячу километров кипела война, а здесь, в тишине зелёных полей и деревьев, как молодые птенцы на крыло, вставали оправившиеся сироты. Все они были будто ромашки подле забытой дороги. Кто из них выйдет? Какое имя станет известно родимой стране?

— Если бы знать, что Коля Рубцов будет таким поэтом, то я бы его запомнила лучше. За каждым бы шагом его проследила...

Так говорила бывший инспектор по детдомам Вологодского облоно Копышева Елена Васильевна, когда майским вечером 1985 года мы ходили возле развалин Красковского детского дома. От тех лет сохранились лишь парк со старинными липами, пруд, куда опрокинулись тени стволов, опустевший каретник и баня с пёстрой стеной от многих десятков детских фамилий, среди которых, была, возможно, и роспись Коли Рубцова.

Мир огромен. Как много надо особенных слов, чтобы дать всему объяснение. Дать имя цветку. Дать имя упавшей с неба грозной стихии. Дать имя солнышку на закате. Дать имя сну, в котором к тебе возвратилась покойная мать. Наверное, Коля Рубцов умел это делать. Умел сохранять за душой самые резкие перемены, какие с ним вытворяла судьба.

14 октября 1943 года снова настал день разлуки. Колю переводили в школьный детдом № 6. Предстояла опять дорога. Боря тоже хотел бы с ним вместе. Но вместе нельзя. Семилетний брат обнимал шестилетнего и не верил, что больше он с ним не свидится никогда.

Растерянная улыбка

— Кончила-ась война!

В этих двух долгожданных словах, какие, борясь с волнением, выкрикнул в спальню дежурный, была чрезвычайно великая радость, такая великая, что она не вместилась в маленькие сердца, и от каждой кровати вместе с вихрем взметнувшихся рук, подушек одеял, вознеслось и, ударившись в окна, вылетело на волю:

— Гитлеру капут!!!

Всем казалось, что кончилось время сиротства, что вскоре в один полу-сказочный день дверь откроется нараспашку и, стуча походными сапогами, в комнату, где живёт само нетерпение, улыбаясь, войдёт твой отец.

Так бы, пожалуй, и было. Именно так, если бы с поля войны вместе с живыми спешили и неживые.

Двухэтажный, застывший в глухом ожидании дом ожил однажды, расцвёл десятками вспыхнувших глаз: детдомовский двор пересёк одетый в военное человек.

За кем? Кто счастливчик? Кому так неслыханно повезло?

Повезло Наде Новиковой. Было сладко и горестно наблюдать, как высокий, с усталым лицом, в гимнастёрке без знаков отличия, постаревший от долгих страданий солдат уносил на груди счастливо трепещущую дочурку. Долго-долго смотрели детдомовцы им вдогонку. Смотрела Женя Романова. Смотрела Нина Попова. Смотрел навестившийся Коля Рубцов. Все-все смотрели и думали про себя: «Мой папа тоже вернётся! Вот только разыщет мой адрес, узнает, где я, — тут за мной и приедет...».

Но мало кто из отцов возвращался домой. И всё равно, вопреки завершившимся срокам, ждали ребята отцов, веря в их исключительную живучесть, с какой на войне человека не убивают.

Потом, спустя месяцы, стали в детдом приходить бездетные женщины и мужчины. Выбирали себе, кто — дочку, кто — сына. Выбирали из самых красивеньких, ласковых и весёлых. Дети дичились, пугаясь то лысого дяди, то тётки в очках, и часто от новых родителей убегали. И вообще этот выбор для юных детдомовцев был мучителен, будто пытка, и вызывал в них не только испуг, но и чёрную мысль, что они не такие, как все, чем-то хуже обычных детей и улыбка родителей их уже никогда не согреет.

Но и это прошло, отодвинулось, как чужое, которое им не может принадлежать. Осталось лишь чувство сиротского единения.

Третьего января 1946 года Коле Рубцову исполнилось десять лет. Самая бойкая из девчат Валя Межакова маршем на барабане вызвала в зал всех воспитанников детдома. И Коля, меньше всего полагавший, что эта шумливая сходка собрана ради него, был весело вытолкан к ёлке с флажками, где и вручили ему роскошный по тем временам сверхподарок — десять цветных горошин-драже!

А потом принесли единственную на детдом, хранимую под ключом кирilloвскую гармонь и потребовали:

— Играй!

Игре на гармошке Колю никто не учил. Сам, вечер за вечером, научился. Часто после просмотра какого-нибудь кинофильма его зазывали в класс или спальню и там умоляли вспомнить мелодию песни. Вспоминая, он тут же играл, а девочки пели. И было в такие дни по-особому весело и приветно, ну точно как дома.

Новогодняя ёлка с флажками. Десять круглых конфет. Знаменитая песенка о Катюше. Это запомнилось Коле. Запомнилось также и то, как его попросили:

— Прочитай, Колюха, стихотворение!

И он, засунув от волнения руки в карманы штанов, поднял голову и прочёл:

*Скользят полозья детских санок
По горушечке крутой.
Дети весело щебечут,
Как птицы раннею порой.*

Ему хлопали. Ему улыбались. Словом, день этот, третьего января, прошёл для него, как праздник.

Праздники были редки. Однако Коля умел их умножить. Поздно вечером, перед тем как заснуть, он вызывал в своей памяти самых близких людей. Они рисовались ему так живо, что он их видел, как наяву и, тайно волнуясь, даже пытался с ними поговорить.

Видел красивую, с тонким овалом лица быстроногую Надю, которая часто брала его на руки и гуляла с ним под зелёной листвой старых лип.

Слышал Галю, которая пела, и было от этого пенья ему кротко, ласково и беспечно, ну точно младенчику в колыбели.

С Аликом чаще играл в военные игры, лазал с ним по деревьям, купался в реке.

С Борей же ссорился постоянно, но от этого не сердился, наоборот, был в мальчишеском восхищении, словно маленький брат своим спором ему доставлял замечательную забаву.

Мать старался не вспоминать, ибо видел ее в тесовом гробу, который везут по улицам Вологды на телеге. А с отцом, возникавшем из мрака детдомовской комнаты в белой рубаше, с задорным лицом, он вёл разговоры, пылко пытаясь его: «Ты где? Почему не ищешь меня? Неужели тебя убили...»

Убили... Именно это и затвердит малолетний Рубцов про себя. Потому-то скажет в стихотворении: «... На войне отца убила пуля...». Скажет, не зная того, что отец его жив, что живёт он в Вологде, и что там у него новые сыновья. Узнает об этом он через годы, когда повзрослеет и, встретившись с ним, увидит на бледном его лице растерянную улыбку.

Бурчик

Высокие, в утреннем свете лучей берёзы. Прясла изгороди, бегущие, как козлята, наперегонки к струящейся Толшме. Перевитая травами пойма, в которой и там, и сям посверкивают цветы. И забавный, стригущий ушами стремительный Бурчик. Возле гнедка — стайка мальчиков из детдома Играют с животным, валяют его в траве, приносят, как лакомство, горсть полевого ячменя.

Чаще всего с жеребёнком возится Коля. Выводит его из конюшни в лужок. Садится верхом, спускаясь тропой к водопою возле замшелых камней, над которыми низко склонилась старая ива.

Бурчик был баловлив и смышлён. Девчата его боялись: днём или вечером он входил в любую из комнат детдома и того, кто не нравился, мог лягнуть копытом и укусить.

Знал дорогу шалун и на кухню. Откроет дверь, как рукой, переступит порог и поднятой мордой, глазами и наглым оскалом зубов как бы потребует: «Дай!». И повар совал ему в пасть то сырую картошинку, то морковку.

Но бывало, что Бурчик по маршам лестницы поднимался на сам чердак и ходил по нему в темноте, как хозяйско-домовой, каждым стуком ноги доставляя ребячьим сердцам затаённый ужас и восхищение.

Воспитательница с надеждой всматривалась в ребят: кто б из них прогнал с чердака жеребёнка?

Поднимались самые смелые и всегда среди них — непоседливый Коля.

Целую зиму Бурчик стоял на конюшне, превращаясь из жеребёнка в рослого жеребца. И как только солнышко по весне растопило снега, ребята стойкой отправились на конюшню. Бурчика вывели. Первым, кто взял его за уздечку, был, разумеется, Коля, который сразу с бревна коновязи храбро вскарабкался на коня. Конь прошел мелкой рысью, потом — и галопом, сшибая копытами мокрые комья земли. Ветер, запахи луж и весёлый полёт над землёй!..

Желающих прокатиться верхом было много. Но из всех добровольцев Бурчик выбрал только двоих — Рубцова и Горюнова, Колю и Мишу, потому что они любили не только кататься, но и ухаживать за конём. Им подставлял он свою послушную спину по первому знаку. Катал на себе их поодиночке, а то и вдвоем.

Вдвоём, когда лёд на реке раскрошило и мутные воды хлынули, затопляя луга, они и отправились на коне к деревянному мостику через Толшму возле деревни Френиха, где уже собралась вся никольская детвора. Каждый смотрел на мост, где стоял, не двигаясь с места, учитель Медведев. Река затопила как раз низину между мостом и селом Никольским, и это место пройти невозможно.

— Давай, Колька, ты! — Горюнов прыгнул с лошади у воды, а Рубцов, оставаясь, направил коня по подводной тропе. Подобрался к мосту.

— Садитесь! Уместимся! — крикнул Рубцов, подворачивая коня.

И учитель, забравшись, тронулся вместе с находчивым Колей по водополью. Персехал заливчик, не замочившись, и успел из минуты в минуту на первый урок. А Рубцов опоздал, но на то только время, какое понадобилось ему, чтоб поставить коня на конюшню.

Нет Бурчика. Нет и Рубцова. Зато осталось стихотворение, которое Николай в один из своих вечеров легко и весело записал, улыбнувшись воспоминанию:

ЖЕРЕБЁНОК

*Он увидел меня и замер,
Смешной и добрый, как божок.
Я повалил его на травку,
На чистый солнечный лужок!
И долго, долго, как попало,
На животе, на голове,
С восторгом, с хохотом и ржаньем
Мы кувыркались по траве.*

Искорка

После того как по зимней поре, обув в крестьянские лапти, свели со двора единственную корову, жизнь детдомовцев стала ещё сиротливей. Воровать никто из них не умел. Да и что воровать? У кого? Правда, в церкви, когда-то красивой, теперь обезглавленной, день за днём работал маслозавод, который к себе приманивал запахом творога и сметаны.

Этот запах Колю и подтолкнул проникнуть в заветное помещение. Попал он туда по вечеру. Но не успел прикоснуться к рыльцу пузатого жбана, как был застигнут врасплох дежурившей сторожихой. Удивился Коля, когда пожилая женщина, вместо того чтобы заругаться и сразу отсюда его прогнать, налила в ковш молочных отстоев.

— Дуй, маломошной, сколь можешь! Мало — ещё добавлю!

Уходил Коля с туго налившимся животом. Сторожиха вдогонку:

— Приходи, коль по нраву!

Коля пришёл с целой группой замурзанных ребятишек. Вход посторонним сюда запрещён. Но у работниц завода были такие же дети, и все они, остро жалея сирот, ставили каждого около жбана.

Вместе со всеми пил, наслаждаясь сывороткой, и Коля. Пил и улавливал над собой заботные вздохи работниц. И было ему под этими вздохами приятно и надёжно, как под приглядом сердечной родни, которая не обидит.

Уже тогда у Рубцова высеклась искорка понимания, что самые добрые люди есть те, которые чувствуют справедливость. Этих людей видел он каждый день. Одни из них убрали хлеба. Вторые доили коров. Третьи верхом на возах уезжали в далёкую Тотьму. Он им завидовал. А, завидуя, помышлял, что когда повзрослеет, то тоже станет таким же толковым умельцем. Рожь ли выращивать в поле, скот ли пасти, загружать ли бидонами сани — хоть куда и хоть где, лишь бы дело, какому его обучат, у него получалось быстрее всех.

Вечерами откуда-нибудь из укромного места он любил наблюдать, как сходились люди домой. Вот идут они, притомлённые от трудов, кто по тропке, кто по дороге. Вот сошлись на весёлой, заплесканной солнцем лужайке, и их с криками: «Папа! Мама!» встречают дочки и сыновья.

Любовью и ревностью пробивало его сердечко. Так бы могло быть и у него, кабы были с ним рядом его родные. Но всё равно ему было отранно, как если бы он ощущал на себе дорогое прикосновение, словно оно исходило от мамы.

Чтоб не расплакаться, шёл по той же тропинке, по той же дороге, которой только что проходили работники ферм и полей. «Меня, когда я буду женатым, — говорил себе в передумьи, — тоже будут встречать, как их...».

Он верил в простого русского человека, который любит природу и родину, детей и свою работу. Он вспомнит его не однажды. И найдёт для него особенные слова:

*Меня звала моя природа.
Но вот однажды у пруда
Могучий вид маслозавода
Явился образом труда!
Там за подводой подвода
Во двор ввозила молоко,
И шум, и свет маслозавода
Работу славил широко!
Как жизнь полна у бригадира!
У всех, кто трудится, полна.
У всех, кого встречают с миром
С работы дети и жена!
Я долго слушал шум завода —
И понял вдруг, что счастье тут:
Россия, дети, и природа,
И кропотливый сельский труд!*

Схватки

В Тотьме, когда учился Рубцов в Лесном, он всегда и во всём норовил быть лишь первым. Где он только себя не испытывал!

На стадионе среди футболистов он торопился забить поскорее собственный гол. Носился по полю страстно, с бешеным криком и матюками. Однако гол забивали другие. И через две-три игры к футболу он окончательно охладел.

В аудитории, на переменах среди всевозможных затей пользовалась успехом обычная схватка по-русски, когда выяснялось, кто был сильнее, и двое бойцов, жестоко обнявшись, пытались свалить друг друга между столов. Помню, что Коля боролся едва ли не всю неделю. По три и четыре раза на дню. Из себя он был ничего. Ростом — метр шестьдесят. Руки вертелись, как

два колеса. В пылу своих первых побед, он был готов померяться ловкостью с каждым из всех тридцати обучавшихся в группе ребят. Из многих схваток его я запомнил последнюю — с коренастым Серёжей Кокиным.

Как боролись они! Не было стула, какой бы они не свалили. Не было и стола, какой бы не стронули с места. Им не хватило и перемены. Раздался звонок, и тут полетела с грохотом на пол преподавательская доска. Дверь распахнулась, и в ней показался Илья Арсентьевич Борзенин, наш классный руководитель. Однако его никто не заметил. И только минуту спустя, когда Рубцов оказался внизу, припечатанным к полу, всё встало опять на свои положенные места — и доска, и столы, и стулья.

Николай был расстроен не оттого, что ему попенял добродушный Борзенин, а оттого, что он проиграл. После этого он ни с кем никогда не боролся: понял, что это удел не его.

Разумеется, в те подростковые годы Коля не ведал, что самые крупные схватки его — впереди и пройдут они полем Поэзии, с которого будут его выталкивать, изгоняя, как изгоняют завистники конкурента, боясь, что он может их всех умалить и затмить. Однако поэт проявит бойцовский характер, выдержит всё и станет, в конце концов, тем, кем и назначено стать на роду.

Странная способность

Двери в аудиторию были закрыты. Оттуда, как из холодной страны, доносился голос читавшего лекцию педагога.

Я опоздал. Не зная, что делать, пригнулся возле дверей, дабы только взглянуть и понять: пустят или не пустят? И тут на меня навалилось — свесились две ноги в рыжеватых полуботинках и чьи-то руки схватили за волосы, дернув их так, что голова моя заломилась. Ещё не видя того, кто меня оседлал, по ухваткам, ботинкам и вероломству почувствовал — это Фома, толстозадый сокурсник, не упускавший удобного случая, чтоб надо мною не поглумиться. Такое к себе отношение я заработал из-за того, что ушел из стаи его раблепных дружков, и теперь он по-тихому мстил.

Я только всего и сделал, что распрямился, и мой наездник, не удержавшись, свалился, лягая ногами в воздухе так, словно пробовал кувыркнуться. Именно в эту секунду из вестибюля вбежал запыхавшийся Коля Рубцов. Увидев занятную сценку, расхохотался, так как и он Фому не терпел, и, пожимаемая мне руку, спросил:

— За что ты его?

— Я не конь, чтоб садиться ко мне на шею!

Фома, покрасневший от ярости и досады, убежал. Я хотел было снова — к дверям. Но Рубцов удивлённо раскинул руки:

— Неужели такой ты сознательный, что пойдёшь нарываться на неприятность?

— Куда же тогда?

— Предлагаю: пойти прогуляться!

Что ж. Я спорить не стал. К тому же на улице было просторно и солнечно, всюду шелест и жёлтые листья.

Знали мы ещё плохо друг друга. Около месяца проучились, и не было повода, чтобы о чём-то разговориться. И вот оказались вдвоём. Почему-то Рубцов с удовольствием шёл вслед за мной. Хотя я его и не звал.

— Ты куда пошёл-то? — спрашиваю его.

— К тебе!

— А чего у меня?

— Так. Взгляну, как живут тотмичи?

Мне не жаль. Тем не менее, я удивился. Не тому, что Рубцов направлялся со мной ко мне в дом, а тому, что решился на это он быстро и весело, словно знал меня тысячу лет.

Тогда я не ведал о странной способности Николая вечно к кому-то испытывать интерес, постигая душой того человека, который его чем-нибудь изумил, и ему с ним хотелось побыть подольше.

Отсюда, от этого любопытства, и шли у Рубцова знакомства. И дружба отсюда. И гнев к человеку, когда он вдруг в нём ошибался.

Он не ошибся во многих. В Александре Яшине, человеке особого благородства, кто его не однажды вытащит из беды. В Анатолии Передрееве, с кем Рубцов опрокинет не раз и не два банду циников-книготворцев, когда те замахнутся на честь великого Пушкина и России. В Станиславе Куняеве, на чью шутку в стихах он ответит такой же блистательной шуткой, и тоже в стихах.

Это будет, однако, всё после. Тогда же, осенней порой 1950 года, учащийся первого курса Тотемского лесного техникума Коля Рубцов стоял на крыльце деревянного дома и, глядя на ропшущий в шёпote чутких черёмух Кореповский ров, на резвых козлят во дворе, на скамейку под окнами и белеющую дорогу, по которой тащился гнедок, везя на телеге бочку с возницей, взволнованно говорил:

— Как много здесь русского! Как я люблю эту местность! Откуда всё это? И для кого? Ты не знаешь?

- Не знаю, — ответил я.
- Значит, мне предстоит.
- Что предстоит?

Рубцов показал на двор, огород, ров и ропшущие деревья:

- Узнать: почему всё это так сильно действует на меня....

Без последствий

Чтоб сойтись человеку с другим, нужно не только время, но и поступок, в котором бы полно раскрылась душа, обнажая как силу свою, так и слабость. В тот памятный год я почти ежедневно виделся с Колей Рубцовым. Но мы просто вместе учились. В городе Тотьма. В Лесном. Техникум должен был подготовить из нас мастеров лесовозных дорог. И все-таки, мне казалось, что в Коле таилось много такого, что побуждало глядеть на него с ожиданием, как смотрят в ночи на дверь освещённого дома, откуда вот-вот появится незнакомец, и в нём ты узнаешь того, кто тебе будет рад.

Рубцов выделялся своим худощаво-красивым лицом, синеватым в полоску костюмом, забиячливой дерзостью, резким движением рук, симпатичной улыбкой, игравшей в его тёмно-карих глазах горячо и искристо, как только что вспыхнувший костерок. И ещё выделялся умением быть среди тех, кто делает что-то отчаянно-смелое, даже порой — запрещённое, где — молодечество, риск и особо весёлая бесшабашность.

Запомнился день начала июня 1951 года, когда мы, готовясь к экзаменам, целым курсом искали пристанища, где бы нам никто не мешал. Белокаменный техникум с множеством общежитий, мастерскими, кузницей, гаражом занимал территорию бывшего Спасо-Суморина монастыря, и найти уголок для каких-нибудь тридцати человек среди храмов, башенок, речек Ковды и Песьей Денёги, насыпных валов и берёз было просто.

Облюбовали мы Вознесенский собор. Большинство задержалось на кровле придела. Только пятеро вместе с Рубцовым вскарабкалось выше — на крутоскатую крышу четверика, в середине которого высился каменный барабан, накрытый гигантской луковицей из бронзы.

Отсюда видны три крыла монастырских келий, красневшая кирпичом крепостная стена и несколько башен с бойницами для пищалей. Дальше глазам открывались холмы с полями и деревьями, тихая Сухона с плившей по ней вереницею барж и глядевшая сквозь густую листву деревьев, будто сама былинная Русь, пёстрокрышая Тотьма.

повернувшись к стене. И вскоре нашли для себя, что так ходить куда безопасней.

Коля забрался в окно. Подождал, оседлав подоконник, когда приближусь к окну и я.

— Что ты делаешь? — удивился, видя, что я продолжаю идти вдоль стены. И не только идти. А бежать. Уж и сам не пойму, как явилось это открытие, однако почувствовал я, что при беге по кругу опасность вообще исчезает и опрокинуться вниз совершенно нельзя. Кажется, я обнагтел. Сила инерции, странный азарт и уверенность в том, что со мной ничего не случится, так раскрутили меня, что я совершал круг за кругом и даже промчался с весёлым приплясом. Потом ещё и ещё. Момент, когда я споткнулся, ступив на шнурок развязавшегося ботинка, для меня был и тёмн и непонятен. Рука машинально метнулась к окну. А там в своей белой рубашке — Рубцов. Одно я запомнил, когда выбирался на каменный подоконник, — это тревожную Коллину руку. Он держал мою руку в своей с волнением человека, который отчаянно рад, что всё у нас обошлось без последствий. Уже на земле, спустившись с церкви, он посмотрел на меня искрящимися глазами и изумлённо сказал:

— Весёлая голова....

Лесная работа

Не так уж трудны были наши экзамены. Все мы их сдали. Наступила пора разойтись и разъехаться по домам. Разойтись тотьмичам, а разъехаться тем, кто жил в Заозерье и Середском, Вожбале, Коченьге и Николе. Однако пришлось задержаться. Лесотехнический техникум отоплялся дровами. Чтоб обеспечить топливом главный корпус, столовую, общежития, баню и мастерские, надо каждому из ребят заготовить по пять кубометров. Мало кому хотелось идти на лесную дачу и заниматься тяжёлой работой. Однако иначе нельзя. Одно соблазняло — это расчёт, который, как только завхоз принесёт в бухгалтерию списки справившихся с заданием, сразу и сделают без помех.

Работа только ручную. Электропилы стали использовать где-то лет через пять. Уходили обычно утром. Попарно. Я ещё не успел подумать над тем, с кем бы мне направиться в лес, как Рубцов предложил:

— Хочешь со мной, весёлая голова?

Договорились, что я приду в общежитие на рассвете. Так я и сделал.

— За завтрашний день и за нашу дорогу!

Спали мы в шалашах. Вернее, не спали, а раздражённо ворочались, пережидая ночное время с его холодком, негустой темнотой и затяжным комариным напевом. Рубцов вообще не ложился. Сидел у костра, наклонившись к коленям, на которых лежала откуда-то взявшаяся тетрадь. Позднее узнал я, что эту вчетверо согнутую тетрадь он носил всё время с собой, заполняя её своими песнями и стихами.

Утром, чуть свет, мы пили горячий чай, который нам изготавил Рубцов, заварив его на смородинных листьях. Пахло ольховыми шишками, кислой землёй и сухими хвощами. Снова мы наклонялись к изножью деревьев. Валили их наземь. Срубали сучки. Разрезали пилой. И так целый день.

К вечеру нас от усталости, скудной еды, комаров и солнца буквально шатало. Однако мы были довольны. Завхоз, принимавший наши дрова, сказал, что у нас всё нормально, кроме сучков, которые надо уложить в кучи.

Перед тем как отправиться, мы отдыхали, раскинув руки и ноги в прохладных хвощах. Нам страшно нравилось, что мы заготовили десять кубиков дров, что завхоз, измеряя их, не ругался, что к ночи мы явимся в Тотму, и завтра можно прийти в бухгалтерию за деньгами, и в этот же день по вечеру встретиться у реки, и когда пароход пустит пар, помахать друг другу руками.

Возвращались мы не спеша. Было свежо. Плакал чибис над головой. Солнце уже закатилось. Небо на западе было чуть розовым и пологим. Мнилось, что на него по-за городом, где зубрились вершинками ели, можно зайти или въехать на лошади, как на большую дорогу, которой дано продолжаться и продолжаться и не закончиться никогда.

Каждому — свое

На следующий день, заходя в общежитие, опять застал я Колю Рубцова за тем же стаканом хлебного чая. Был обеденный час.

— Ты почему в столовую не идёшь? — спросил у него.

Рубцов провёл ладонями по своим синеватым, в линию, брюкам.

— В столовую я пойду, когда зашуршит в карманах.

В комнате было пусто. Одни кровати с голыми досками да ничем не заставленный стол.

— Где ребята? — спросил я про Бабкина с Брызгиным.

— Уехали.

— Ну, а ты?

— Тебя дожидался. Мы ведь договорились, что пойдём в бухгалтерию вместе.

Положив в карман пиджака вчетверо согнутую тетрадку, Рубцов окинул комнату взглядом:

— Больше сюда мне незачем возвращаться.

Мы вышли во двор, зеленевший аллеей акаций и лиственным свесом могучих берёз. Направились красной дорожкой к парадному входу. Над дверью — портрет пожилого вождя. Казалось, он был здесь всегда и никто никогда отсюда его не снимет. Сталин смотрел на нас утверждающе и устало. В суровом его лице отражалась твёрдая поступь эпохи, какую мы шли и пришли в сегодняшний день, встав у порога грядущего, не умея оглядываться на путь, оставшийся сзади.

На душе у нас было бодро и в бухгалтерию мы вошли, сияя глазами, готовые расписаться за деньги, которые заработали на делянке.

— Рубцов и Багров... — В руках бухгалтерши и кассирши зашелестели бумажные документы. Они искали наши фамилии. — Вас нет ни в нарядах, ни в списках.

— Но как же?! — воскликнул Рубцов, краснея от возмущения. — Мы работали целых два дня! Заготовили десять кубов! Завхоз их принял вчера, и сегодня велел приходить к вам сюда за деньгами!

Нам деликатно и вежливо пояснили:

— Завхоз у нас был. Но документов на вас никаких не оставил. Так что помочь вам ничем не можем.

Я вышел за дверь. А Коля остался. Из коридора отчётливо было слышно, как он что-то громко доказывал. Ему объясняли. Но объяснения были в пользу завхоза. Было такое чувство, что нас обманули, и мы не имели права себя защищать. Коля уже не доказывал — требовал. Голос его поднимался до хриплого крика. И вдруг прорвалось непечатное слово. Мне стало за Колю чуть страшновато. Всё же стоял 51-й год. И любая шумиха в общественном месте могла обернуться бедой.

Из бухгалтерии он не вышел, а вылетел в косо, почти поперёк головы нахлобученной кепке, с серым лицом, выражавшем протест, и сощуренными глазами.

— Это он! — показал рукой на попавшего нам навстречу в своих галифе и сапожках низенького завхоза, когда мы вышли из вестибюля, шагнув на избитые тысячью ног ступеньки крыльца.

Завхоз как споткнулся и повернул к боковой двери корпуса, куда идти поначалу не собирался.

— Пойдём в бухгалтерию! — крикнул ему Рубцов. — Скажи всем им там, что мы заготовили десять кубов и пусть нам выдадут деньги!

Завхоз, уже взявшись за ручку двери, призадержался.

— Деньги выдадут вам только после того, как сходите в лес и соберёте в кучу сучки.

— Но мы их и так все собрали!

— Вчера я этого не заметил, — завхоз потянул на себя высокую дверь. В проёме её обнажилась неясная мгла с проступившим в ней деревянным лестничным маршем. Казалось, там была спрятана несправедливость, и завхоз её выпустил нам навстречу, чтобы она его защитила.

— А когда их заметишь?

— Не раньше, чем завтра.

— И снова к чему-нибудь придерёшься! — Рубцов сорвал с головы восьмиклинку и сделал к завхозу порывистый шаг. Но тот поспешил ускользнуть и закрыть за собою дверь, прогремевшую с той стороны железным засовом.

Первая половина дня нам улыбалась. Вторая — свалилась на нас неожиданной тенью завхоза. Мы шли, направляясь к городу под сияющим солнцем, однако не чувствовали его, настолько было нам худо и неприятно.

У моста через Ковду встретилась группа ребят. У одного из них Коля увидел гармошку.

— Дай! — протянул обе руки.

Через минуту окрестность реки огласилась трелью гармошки, а после — и голосом Коли. Он пел не песню и не частушку, а лишь один затянувшийся звук, выражая им своё скверное настроение и ту высокую силу души, которой пытался выправить настроение.

— Ке-не-ке-не-ке-не-ке-не-е! Ке-не-ке-не-ке-не-ке-не-е...

Возвращая гармошку ребятам, Рубцов блеснул на меня веселеющим взором.

— А ну их к монахам, эти дрова!

Остаток дня мы провели на окраине Тотмы, в доме над старым Кореповским рвом, где жил я с матерью и сестрой. Я уговаривал Колю остаться, не трогаться, жить всё лето у нас, благо места хватало, а пищу могли бы мы с ним добывать на реке и в лесу.

Рубцов показал из окна на почтовый столб за дорогой. На вершинке его, как на маковке лета, плечистый монтер в пламенеюще-красной рубаше стриг пассатижами провод.

— Каждый ищет что-то своё. И находит, как этот вон дядя. Я тоже хочу поискать...

Перед тем, как пойти на пристань, к которой уже приставал пароход «Ляпидевский», мы завернули на берег, где розовела тремя этажами средняя школа и зеленели высокие тополя.

Солнце было почти под ногами. Минуту назад оно выскочило из леса, скатилось к реке и теперь в неё медленно погружалось. Свет от него был спокойный. И в этом свете прямо на нас летела стая оранжевых птиц.

Пахло мусором половодья, осевшем на веточках ивняка. Плескала волна, тыкаясь в корпуса лодок и в камни. Вечер сгущался, и было слышно, как «Ляпидевский» дал пробную порцию белого пара, окутав им двухэтажную пристань.

Мы поспешили спуститься с угора. Перепрыгнув ручей, направились к двум деревянным быкам, перед которыми густо пестрела народом синяя пристань. От парохода, ревевшего трубным гудком, от толпы, облепившей перила и сходни, от разнобоя быстрых и медленных голосов, от смеха, топота и махания платками наносило щемящим прощаньем.

— Так куда же ты, Коля? — спросил я Рубцова, когда толпа, как река, понесла нас к дощатому трапу.

Он повернулся ко мне. Нашёл в толкотне мою руку, стиснул её и, сказав: «Не знаю», перебрался со всеми на пароход — без вещей, без билета, без денег. И, взмахнув рукой, потерялся в толпе.

ЗА ВОЛОГДОЙ, ВО МГЛЕ

Под Большой медведицей

В тот зимний день, когда я сидел в редакции, вымучивая статейку, дверь тихонько открылась, и в нашу комнату, где четыре стола с четырьмя сотрудниками газеты, вошел одетый в осеннее драповое пальто и шапку при светлом каракуле молодой с худощавым лицом человек. Поздоровался он не как все обычные люди, не от порога, а где-то в середине комнаты, не дойдя до стола моего каких-нибудь двух-трех шагов.

Да это же Коля Рубцов! О встрече с ним я даже не помышлял: считал его давним скитальцем, чья жизнь пройдет в бесконечных дорогах. Я сразу поверил, что в Тотье Рубцов оказался проездом, и в редакцию он заглянул на минуту — повидаться со мной и бесследно уйти.

Лет десять именно так всё и было. Тогда я видел его мимоходом. Он был не один. Торопился куда-то с Сашей Gladковским, высоколобым красавцем с глазами почти в пол-лица. Как и я, Gladковский когда-то учился в техникуме с Рубцовым, а теперь продолжал учиться со мной. Шли они оба по каменной мостовой. Gladковский чуть впереди. Было видно, что он норовил увести Николая туда, где, наверное, собирался похвастаться им как поэтом. Из-за меня бы задерживаться не стал, прошёл бы мимо, не соизволив остановиться. Но Николай счастливо заулыбался. В матросской рубашке поверх тельняшки, изрядно поддатый, с весёлым лицом, он показался мне страшно беспечным. Я ничего о Рубцове не знал. Разве лишь то, что находится он где-то на Севере, ходит в море и ловит там с рыбаками треску. Я хотел с ним, было, поговорить, однако, Gladковский уже уводил Николая. И я успел лишь окликнуть:

— Ты где сейчас, Коля?

— Там! — показал Рубцов вдоль палисадов, полого тянувшихся к аэродрому. — Плаваю! На кораблях! А ты-ы? Учишься, где и раньше?

— Где и раньше.

Так мы тогда и расстались. Было нам в ту погожую осень по 18 неполных лет. А сейчас — 28. Мы в редакции. Друг против друга. Николай неожиданно предлагает:

— Давай я тебе помогу! — и кивает на стол, где лежат у меня блокнот и бумага.

Я ткнул в недописанный лист:

— В этом деле?

Рубцов улыбается:

— В этом!

— Но я сейчас пишу хозяйственную статью!

— Я тоже умею писать хозяйственную статью! — рассмеялся Рубцов. — Вдвоём мы её осилим в два счёта, и тебя отпустят с работы не вечером, а сейчас!

Я догадался: Рубцов балагурит так потому, что имеет свободное время, никто его за дверями не ждёт, и он готов подождать меня сколько угодно. Это было так кстати. И всё-таки я у него спросил:

— Ты в Тотье, Коля, чего? Получается, не проездом?

— Нет! Нынче я никуда не спешу. Я сейчас из Москвы. Из Литинститута.

Замредактора Александр Михайлович Королёв был ко мне милосерден. Посмотрев в мою сторону, он сказал:

— Сергей Петрович, ты уж пойдёшь. Чего тебе тут оставаться. Всё же гость у тебя. Статья напишется и потом. — И, перекинув взгляд на Рубцова, добавил:

— А вас, Николай, э-э...

— Михайлович.

— Вас, Николай Михайлович, вот я о чём попрошу. Вы учитесь там в своём институте литературным разным делам. Не могли бы вы здесь у нас провести когда-нибудь с нами встречу? Почитать какие-нибудь стихи.

— Могу, — согласился Рубцов, — только я почитаю вам не какие-нибудь, а собственные стихи, и не когда-нибудь, а в течение года.

С этим мы из редакции и ушли.

Мороз, ну точно тебе кавалер со скрипкой, гулял по улицам городка. И мы с Николаем, слушая скрипку, вслед — за морозом: от двухэтажной редакции — к улице Володарской, оттуда — на Красную, 2. Здесь, в доме с узорными окнами, грустно глядевшими на реку, жили мои бабушка с мамой.

Мы уселись за стол. Старушки ухаживали за нами. А мы, как счастливые баловни дня, блаженствовали на стульях.

Было нам умирённо и тихо. Ещё и вечер далёк. И солнышко молодое. Оно горело на рюмках и на графине. Где-то в глубинах дома брякали бабушкины коклюшки. Под столом, мурлыкая, добивался от нас хотя бы маленькой ласки льнувший к нашим ногам молоденький кот.

Долго сидели мы так, отдыхая. Потом Николай поднялся. Взглянул в окно на покрытую снегом реку и запел:

*В горнице моей светло —
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды.*

*Матушка, который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?*

*Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.*

*Сколько же в моей дали
Радостей пропало, бед?
Словно бы при мне прошли
Тысячи безвестных лет.*

*Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальных сёл...
Сон, сон, сон
Тихо затуманит всё.*

Голос Рубцова летел на жутко отчаянной ноте. Я забылся, что я за столом. Песня схватила меня за самое сердце и понесла куда-то сквозь стены дома, и я разглядел вечеряющий сухонский плёс, а на нем далёко-далеко, возле самой излуки, под красноватым закатом еле видимый пароход.

Былое смешалось с сегодняшним, было грустно, но и отраднo, как на вокзале или на пристани, когда уезжает кто-то из близких, однако твой друг остаётся с тобой и снова споёт тебе лучшую песню.

Песни, стихи, прогулка по улицам Тотмы, снежок под ногами, сутулые тени домов. Сколько было всего в этот день! И ещё я запомнил Большую Медведицу. Семь её звёзд висели среди тишины над зимней рекой, над городом и над нами, как обещающие судьбу, в которой с каждым из нас только то и случится, что нам завещано на роду.

Контраст

Не так уж часто, однако поэты нашу редакцию навещали и горячо читали свои стихи. К лучшим художникам слова мы относили тех, кто умел написать стихотворным размером что-нибудь про сегодняшний день. Нам везло на поэтов высокого роста, с громким голосом и стихами, которые звали куда-то вперёд. Потому Николай Рубцов при его лысоватости, скромном костюме, рубаше без галстука встречен был несерьёзно, точь-в-точь заурядный селькор, который пишет в газету заметки. Провинциальный снобизм хорошо затаился у нас под личиной усталого выражения, с каким мы разглядывали поэта, не уверенные ни в чём. Удивительно то, что и я поддался внешнему виду, как будто вчера и не слышал Рубцова, и полагал, что сейчас у него что-то выйдет не так.

Но вот он поднялся.

— Букет, — сказал и, смущаясь, начал читать. Читал напряжённо и монотонно. Мне почему-то стало не по себе. Однако тревожился я напрасно. Рубцов умел, как никто, справляться с ненужным волнением. Умел увлекаться и увлекать. Голос его наполнился лёгкостью взлёта, стал ясным, естественным и красивым.

Нас было немного. На встречу пришли типографские девушки. С нами, газетчиками, не больше 15 человек.

Провинциальный снобизм улетучился, и не усталость украсила наши лица, а робкий румянец предчувствия встречи с необычайным

Слушали мы затаённо и кротко. За окнами — голые ветки, мокрые крыши, словом, грязь и тоска. А мы перепутали время. Стихи открывали калитку в зелёное лето, и нам уже слышен был постук дождя по траве, громохание грома, шум ветра в деревьях и запах заплёсканной ливнем реки.

Николай прочёл семь или восемь стихотворений. Держался он очень свободно. По шаловливой усмешке, мелькнувшей в его лице, я как бы учуял готовность Рубцова к какому-то дерзкому озорству. Но нет. Он просто-напросто объявил:

— Последнее стихотворение. Называется «По вечерам».

Мы снова усталились на поэта.

*С моста идёт дорога в гору,
А на горе — какая грусть! —*

*Лежат развалины собора,
Как будто спит бывлая Русь.*

*Бывлая Русь! Не в те ли годы
Наш день, как будто у груди,
Был вскормлен образом свободы,
Всегда мелькавшей впереди!*

*Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!
И всё я слышу с перевала....*

Не дочитал Рубцов стихотворение, взглянул на нас, моргая. И виновато замолчал. Мы догадались: сбился. Забыл строку. Старается её найти и не находит. Всем стало как-то скованно и неприлично, точно Рубцов нарочно нас подвёл. Мы ждали, сопереживая. Прошла, наверное, минута. У замредактора не выдержали нервы. Он начал медленно вставать. И тут Рубцов обвёл нас баловливым взглядом, взмахнул рукой и, точно не было минутной паузы, весёлым голосом закончил:

*Как веет здесь, чем Русь жила.
Всё так же весело и властно
Здесь парни ладят стремена,*

*По вечерам тепло и ясно,
Как в те былые времена.*

— Какие будут вопросы? — спросил замредактора Королёв, снова вставая из-за стола.

Кто-то из девушек рассмеялся, кто-то кивнул головой, а кто-то, смущаясь, спросил:

— А почему вы так долго молчали, когда читали «По вечерам»?

— Потому, что в эту минуту писал другое стихотворение!

— А чем писали?

— Мозгами!

— И написали?

— Не до конца.

— А прочитать нам можете?

Николай согласился.

*Я уеду из этой деревни,
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока....*

На этом Рубцов закончил читать, несерьёзно пообещав:

— Остальное я дочитаю потом.

Замредактора вышел из-за стола, протянул Николаю две толстые книги.

— Двухтомник Лермонтова, — сказал, — от коллектива редакции, — и по-
жал Николаю руку. — Успехов вам, Николай Михайлович, на поэтическом
поприще!

Тут все мужчины встали со стульев и сгрудились возле Рубцова. Каждый
был рад пожать ему руку и пожелать то, чего пожелал Королёв. Я тоже пожал
Николаю руку:

— Спасибо тебе, Николай Михайлович!

Рубцов посмотрел на меня удивлённо. А минуту спустя, уже за парадным
крыльцом, по дороге на Красную, 2, он сказал укоряющим тоном:

— Перестань меня называть Николаем Михайловичем! Для тебя я всегда
буду Коля.

— Но я по инерции. Как и все.

— Как и все ни к чему. И потом я всегда себя чувствую пожилым, когда
меня по имени отчеству называют. А я не желаю быть пожилым. И никогда
им не буду.

— Коля! Ты так говоришь, будто тебе известно, сколько ты лет прожи-
вёшь!

— Немного, — сказал Рубцов убеждённо.

— Но об этом никто не знает! — Остановились мы на обрывистом скло-
не, и я показал за реку, на дома, берёзы и ёлки, за которыми притаились
оградки могил похороненных тотмичей. — Не знали даже вон и они.

Мы стояли с ним над обрывом реки и смотрели на правый берег по-за
деревню Пономарёво, где голубели кладбищенские калитки.

— И я не знаю, — Рубцов повернулся к реке спиной, — однако предчув-
ствую. — Тут он достал из-под мышки толстые книги и задержал на них
взгляд. — Лермонтов тоже не знал, что дни его сочтены. И может, поэтому
так холодно и ровно встретил свою смертельную пулю. Почему-то об этом ник-
то из поэтов не написал.

— Напиши тогда ты!

Николай промолчал.

Вечером за столом, за чашкой некрепкого чая он, не спеша, перелистывал книги. Читал. Иногда отрывался от чтения, чтобы сказать:

— Какая воля! Какой неистребимый дух! Ведь нет давно, а будто рядом, как живой. И мне с ним хорошо. Ему, наверное, со мной бы тоже было хорошо. Нам было бы чего сказать друг другу. Мне 28 лет. А он жил 27...

Так, рассуждая вслух, Рубцов пил чай, покуривал и снова углублялся в книгу. А после, выходя из-за стола, он положил двухтомник в руки моей мамы.

— Любовь Геннадьевна, — сказал, — примите! Это в редакции мне подарили! Но я с собой в дорогу взять их не могу. Не потому, что потеряю, а потому, что очень уж они тяжеловаты. А я привык быть налегке. Пусть эти книги будут ваши.

Мама, понятно, отказалась.

Но Николай в своей настойчивости был неповторим:

— Запомните: мне книги дарят, и я их оставляю там, где мой ночлег. Не стану же с собой возить я целую библиотеку.

Тут Николай взглянул в окно.

— Сегодня, кстати, лермонтовский вечер. Быть может, мы с тобой, Сережа, возьмём и выйдем на дорогу, как выходил когда-то на нее поэт.

Ну разве можно было отказаться!

Прошлись сначала до реки. Потом по Володарской. По Садовой. Мы ни о чем не говорили. Вернее, я чего-то спрашивал. Но Николай не отвечал. Я понял: не надо мешать. Наверно, думает о чём-то личном, куда не хочет никого впускать.

Я был недалеко от истины. Рубцов писал стихи. Он был в счастливом поэтическом ударе. Способствовали этому простреленные в ночь прогалы улиц, мерцающие белыми стволами старые берёзы, чей-то идущий по дороге смутный силуэт и тишина. У тишины был удивительный контраст. Она несла в себе потухшие огни заснувшей Тотьмы и вспыхнувшие там и сям зрачки высоких звёзд, глядевшие с небес, как чьи-то настигающие нас глаза.

Заветное место

В жизни каждого человека были лучшие дни, которые, вспомнив, хочется долго хранить возле самого сердца. Для того и хранить, чтоб вздохнуть тишиной былого, принимая её душой, как бесценный подарок.

Первое яркое впечатление от встречи с Рубцовым пало на солнечный день сентября 1950 года. Вижу, будто сейчас, золотой листопад монастырских берёз, арку кирпичных ворот, спуск между двух тополёвых аллей к мелководной речушке Ковде и ватагу ребят, которые громко требуют от загорелого, в синем костюме, русоволосого, с радостным взглядом коричневых глаз озорного подростка:

— Давай, Никола! Давай!

И подросток, подламывая локтями, рванул лежавшую на груди гармошку и очень громко и резко запел:

*Куда пошла, едрёна мать?
Гремела мать, едрёна мать.
Пошла я в лес, едрёна мать,
Грибы ломать, едрёна мать!*

Это был любимец нашего курса Коля Рубцов. Потом, спустя годы, когда я с ним снова столкнулся в Тотьме и напомнил ему эту песню, Рубцов изумился:

— Так это я?! Я написал?!

Не мне одному, а всем тридцати студентам, кто учился в группе с Рубцовым, было известно, что он сочинял стихи, записывая их в ученическую тетрадь. Почти все стихи Рубцов исполнял, аккомпанируя на гармошке. Позднее, когда Николай, не закончив двух курсов Лесного техникума, уехал в Архангельск, тетрадь со стихами осталась в группе. Многие руки её листали, пока тетрадка не затерялась. Уже тогда в этих во многом несовершенных стихах ощущалась отчаянно-резкая нотка, которая в будущем разовьётся и даст его лучшим стихам высокие крылья, подымет их в зачарованно страшную высь, с которой так далеко видны Рубцовские горизонты. И к тем горизонтам будет поэт постоянно спешить, стараясь весь мир увидеть своими глазами.

Без движения не мыслилась Николаю жизнь. Россию он колесил по воде, по рельсам, по воздуху, по просёлкам. И если в юные годы отрадой было ему стремление мчаться куда-то вдаль, то в зрелые — возвращаться к родному порогу.

*Всё движется к тёмному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.*

Родина для Рубцова была только там, где любимые с детства места, близкие лица, друзья, которым он доверялся и доверял. Село Никольское, Тотма — вот адреса, куда он всегда спешил, зная, что здесь для его мятежной души будет покой и отдых.

*...Я словно летел из неволи
На отдых, на мёд с малоком...
И где-то в зверином поле
Сошёл и пошёл пешком.*

Тотма его поражала своей деревянной красотой, уютом реки, тополей и улиц, свистками буксиров и пароходов, обломками древних монастырей, куполами церквей, глубокими рвами, своей историей и народом. Рубцова всегда привлекали незаурядные лица. Тотма же ими была богата во все времена. Здесь во время крестьянской войны Стеньки Разина был казнён один из его атаманов Илюшка Пономарёв. Здесь бывал не однажды царь Пётр. Здесь родился и жил Феодосий Савинов, автор известной песни «Слышу пенье жаворонка». Здесь отбывал царскую ссылку сподвижник Ленина Анатолий Васильевич Луначарский. Здесь рисовал свои замечательные пейзажи Феодосий Михайлович Вахрушов. Здесь у Рубцова писались стихи о сегодняшнем, будущем и минувшем. Сколько прекрасных стихотворений было навеяно образом Сухоны, этой спокойной равнинной реки с её берегами и островами!

В Тотме у Николая было заветное место, которое он любил посещать в приподнятом настроении, когда в голове созревали стихи. Место это — среди тополей, над обрывом по берегу Сухоны, против здания средней школы. Тут он мог находиться часами, наблюдая работу реки, по которой ходили буксиры, баржи и пароходы, длинные связки плотов, катера, моторки и лодки. Тут можно услышать гудки и свистки, скрежет лебёдок, пыхтенье паромы, крики купающихся детей, чей-нибудь смех или плач и спокойный, как вздох человека, шорох пологой волны.

Я тоже любил и люблю навещать это место, откуда на несколько вёрст вверх и вниз открывается длинное зеркало вод.

Однажды по теплому вечеру я стоял, качаясь, на толстых корнях, свисавших под старым тополем к низу обрыва. И вдруг из-под гибких корней выросла лысая голова. Повернулась ко мне — Рубцов! Я рассмеялся:

— Ты, Коля, это, чего?

Николай поднялся ко мне, уселся на корни, точно в висячее кресло, помолчал минуту-другую и каким-то молитвенным голосом, словно в храме перед высоким столом алтаря:

*В минуты музыки печальной
Я представляю жёлтый плёс,
И голос женщины прощальный
И шум порывистый берёз.*

Прочитал, закурил сигарету, вздохнул, и такой печалью омыло его лицо, что при тусклом мерцании заката оно показалось мне отрешённым, как если бы рядом сидел не Рубцов, а чужой человек, с которым встретился я впервые.

— Что с тобой, Коля?

— Наверное, завтра уеду.

— Куда?

— Туда, где должны меня ждать.

— Значит, в Николу?

— Да. Там Гета. Люблю ли её? Скорее — жалею. Там же и дочка. А Лену свою я люблю и жалею, что не могу воспитать её так, как хочу....

Люблю я деревню Николу

Если Тотьма пленяла Рубцова нерасстраченной русской душой, глядевшей из окон каждого дома, каждой калитки и каждого палисада, то Никольское волновало его близостью встреч. Встреч с родными полями, мостиком через Толшму, двухэтажным старым детдомом и, конечно, любимицей дочкой Леной.

С каким неуверенным, затаённым счастьем плыл Рубцов по Сухоне на пароходе, везя в своём потасканном чемодане кулёк шоколадных конфет или яблок. Хотя и скрывал Николай свою отцовскую нежность, но она прорывалась в нём через край, и потому, подплывая к Усть-Толшме, откуда дорога вела к селу, он спрашивал всякий раз:

— А может, другое чего купить? Не конфет, не яблок. Может, какую-нибудь игрушку?

Этот вопрос для Рубцова был слишком важен. Не случайно в одну из таких поездок он напишет печальную песню о девочке, маме и кукле.

Каждая встреча с родиной детства, где прошло испытание на живучесть и где расплатою за добро служило только добро, открывала Рубцову глаза на обыденный сельский мир, в котором малое превращалось в большое, сердце билось взволнованно, рождались бессмертные строки. Не зря после долгих скитаний по мрачным морям, после жизни в Мурманске и Ленинграде, он вернётся в свою Николу, о которой с такой теплотой и любовью напишет:

*Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу,
Где избы просты и прекрасны
Под небом свободным и ясным....*

Так за что же поэт так любил деревню Николу? И скучал он в ней часто, и жил без гроша, и раздражали его то плохая погода, то нудные разговоры, то злая необходимость искать и нигде не найти работы. И всё же тянулся к своей Николе. Мог жить здесь долгими месяцами. Порою срывался куда-нибудь в Липин Бор, Вологду, на Ветлугу, говорил, что пробудет там целое лето, а возвращался через неделю, многое — две, и был каким-то уставшим и недовольным.

Никола дала Рубцову много минут тишины, много минут того самого настроения, при котором душа поэта взлетает в прекрасную высь, откуда видны вся земля, всё пространство, все тайны.

В Николу я ездил два лета подряд, всякий раз отправляясь в дорогу, получив от Рубцова письмо, в котором он приглашал к себе в гости.

«Здравствуй, Серёжа!

Я снова в своей Николе. А ты? В своей ли Тотьме? Что-то я не вижу в дешёвых газетах твоей фамилии. Может быть, ты уехал или отъехал куда-нибудь, и моё письмо не застанет тебя дома?

Живу я здесь уже месяц. Погода, на мой взгляд, великолепная, ягод в лесу полно, — так что я не унываю.

Вася Белов говорил мне, что был в Тотьме, был у тебя. В Тотьме и у тебя ему понравилось. Да иначе и не может быть!

Хотелось бы мне встретить тебя, тем более, что у меня есть к тебе дело. О нём я пока не стану говорить. Думаю, что заеду ещё в Тотьму, вот тогда об этом и поговорим.

Ты обязательно, я прошу, дай мне ответ на это письмо, если ты дома. Я буду знать, что ты никуда не уехал. А иначе (если ты уехал) и в Тотьму мне заез-

ждать нечего. Может быть, ты возьмёшь командировку опять в Николу? И тебе неплохо несколько дней пошляться по этой грустной и красивой местности.

Ты не видел моих стихов в «Молодой Гвардии» и в «Юности» 6-е номера? Я недоволен подборкой в «Юности», да и той в «Мол. Гвардии». Но ничего. Вот в 8-ом номере «Октября» выйдет, по-моему, неплохая подборка моих стихов. Посмотри. Может быть, в 9-ом номере. Но будут.

Какие у тебя новости? Как живётся тебе? Как пишется?

Жду от тебя письма. До свидания.

Крепко жму твою добрую мускулистую руку!

С искренним приветом Н. Рубцов.

Мой адрес: Тотемский р-н, Никольский с/с, с. Никольское. Привет твоей маме.

Пиши ответ скорее, мои каникулы уже на исходе. Во второй половине августа уеду отсюда».

И вот я на крылечке старого дома. Войдя через сени в полую дверь, удивился. В комнате был такой беспорядок, какой невозможно вообразить. На полу валялись клочья бумаг, салфетка с комода, будильник, бутылочка молока и детский ботинок. Из горенки выплыл младенческий крик, а вслед за ним с крохотной девочкой на руках выплыл и сам Рубцов. Был он в шёлковой белой рубашке, без брюк, босиком, перекинутый через лоб жидкий стебель волос и мигающие глаза выражали досаду на случай, заставивший Николая сделаться нянькой.

— Это Лена моя! — улыбнулся Рубцов и посадил малышку на толстую книгу. — Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться. Вернее, пробует Лена. И я ей всё разрешаю!

— Для чего? — удивился я.

— Маленьким надо давать свободу, — сказал Николай, — пусть делают, что хотят. Когда вырастут, они сами откажутся от неё. И потом, ты знаешь, ей так нравится беспорядок!

При этих словах по полу с грохотом покатилась бутылка с наклейкой, которую Лена нашла под столом, хотела взять её в руки, но та не далась и вот кружилась сейчас у порога. Николай рассмеялся:

— Вот видишь! У неё страсть к разрушению!

— Но так и хорошее можно что-нибудь изломать?

— Вон! — показал Николай на ручные часы, вернее, на то, что было часами, а теперь валявшееся в углу с разбитым стеклом и погорбленным циферблатом. — Ещё утром ходили. Но я ей дал поиграть...

— Теперь без часов?!

— А что мне часы! Без них даже лучше. Спешить никуда не надо. Живи, как подсказет душа.

В светлой горенке, где порядка было не больше, Николай отглаживал брюки, но мой приход на минуту его отвлек.

— Сейчас Гета с матерью придут с сенокоса, — сказал он, снова включая утюг, — и мы с тобой обязательно погуляем. — Николай прижал утюг к мокрой марле. — Вчера ходил на покос да попал под ливень. Вот и приходится сидеть...

В кухне, откуда мы с Николаем ушли, раздалось какое-то дребезжание. Я метнулся было туда, но Рубцов задержал:

— Не надо. Это Лена будильник катает. Пусть!

В горенке вдруг посветлело, и по стене, где висел портрет молодого Есенина, порхнула куделька лучей. А минуту спустя солнышко всплыло в окно, как огромная белая рыба, от которой утюг в руке Николая покрылся слитками серебра.

— На, пока почитай! — Рубцов протянул мне стопку листов.

Я повертел их туда и сюда, но ничего не увидел.

— Они же все чистые?

— Ах да! — вспомнил Рубцов. — Ведь я их в журнал отправил.

— Черновики-то всяко оставил?

— Черновики у меня редко когда бывают.

Я вновь изумился:

— А как же процесс сочинения? Ведь ты же сидишь за столом и, наверное, пишешь ручкой?

— В том-то и дело, что не пишу. А если пишу, то обычно без ручки.

— Но бывают такие дни, когда работа в голову не идёт?

— В такие дни я не пишу, потому что мне скучно и хочется выпить вина. И если есть деньги, то я его покупаю.

Николай оделся и, подойдя к кровати, выдвинул из-под неё чемодан. Когда стал рыться среди бумаг, я разглядел угол какой-то морской газеты. Взял её и только успел развернуть и прочесть: «Стихи Николая Рубцова», как услышал:

— Это плохие. Я их писал, когда плавал на корабле. До сих пор не пойму: почему сохранил?

Николай схватил у меня газету. Положил её в чемодан. И вместо неё достал оттуда книгу в бархатном, жёлтом, потрёпанном переплёте «Сочинения Ф. И. Тютчева».

Подавая её мне в руки, Рубцов сказал:

— Вот поэт! Сильнее его я не знаю!

— А Пушкин!

— Они друг другу равны.

— А Есенин?

— Он тоже великий поэт!

— Теперь вот Рубцов... — вырвалось у меня.

Николай задумался, и лицо его стало немного мрачным и беспокойным.

— Нам бы вместе сойтись — Пушкин, Тютчев, Есенин, Рубцов, — сказал он вдруг тихо и, повернувшись ко мне, повеселевшим голосом пообещал:

— Свои стихи я тебе вечером напишу. А сейчас погуляем! Вон сенокосцы идут! — Кивнул на проулок, по которому в белых платьях и белых платках шли мать и бабушка крохотной Лены.

— Сначала купаться! — сказал Рубцов, спускаясь по склону среди колокольчиков и ромашек. И я увидел на загорелом лице его праздничную улыбку.

— Иди скорее сюда! — кричал Рубцов от самой воды, куда пробрался сквозь заросли краснотала. — Здесь так хорошо! Как в раю! Где же ты там задержался?

Перед нами была тишайшая Толшма. Речка мерцала, была неподвижна, ленива, и рыба, какая в ней есть, казалось, заснула и больше уже не проснётся. Но вот Николай прыгнул в маленький омут — вода пробудилась: вскипели на ней весёлые всплески, и где-то у самого дна заскользили, как тени, серые рыбки. Уж так Николай плескался, махал руками, кричал и шумел! Забирался на изгородь или камень и летел стремительно вниз, пробивая руками и головой синеватую гладь. Я едва успевал наводить объектив своего «Зенита».

Накупавшись, мы шли, огибая Никольское, вдоль реки.

— Ты, Коля, о Толшме что-нибудь написал?

Но он не ответил. Лишь посмотрел на меня каким-то далёким-далёким взглядом и снова направился вдоль реки. Я уже и забыл о своем вопросе, как Николай неожиданно сел на коряжку и улыбнулся, как человек, который что-то нашёл и хочет найденным поделиться:

— На реке, — сказал Николай.

Я не понял:

— Что — на реке?

Рубцов улыбнулся.

— Так называется стихотворение, которое я сейчас тебе прочитаю:

*Реки не видел сроду
Дружок мой городской,
Он смотрит в нашу воду
С боязнью и тоской.
Вода легко струится,
Над ней томится бор, —
Я плаваю, как птица,
А друг мой, как топор.*

Прочитал и немедленно объяснил:

— Это не ты, Серёжа! А впрочем, ты мне помог хотя бы тем, что долго не соглашался купаться. И я вдруг увидел в тебе того городского дружка...

У меня было странное ощущение, будто сделано возле нас что-то очень хорошее, очень удачное, но как-то внезапно сделано, и к этому надо ещё привыкнуть. И я привыкал.

Любовь у Рубцова к воде была какой-то неистребимой. Всё время его тянуло к какому-нибудь ручью или колодцу. Вечером, рассуждая о том, о сём, мы шли куда-то без всякой цели, лишь бы рассеяться, просвежиться. Белела луна, поливая неярким светом свежескошенные луга, огороды и избы, бревенчатый мост через речку, кусты. Мы шли под ветвями черёмух, между картофельных гряд, по красневшим в траве кирпичным обломкам. И были приятно удивлены, когда перед нами возникла Толшма, огромным своим коленом обегавшая холм села. Белый песок, кривые, как петушиные ноги, корни надречного краснотала, дремавшие на воде чашечки жёлтых купав — всё здесь дышало чем-то старинным и русским. Стояла такая тишь, что слышно было, как шевелилась трава, по которой, словно сквозь лес, пробирался жёлтый цыплёнок. Мы запалили костёр и стали смотреть сквозь огонь на далёкие силуэты деревьев. Я сказал:

— Слышу детское пение.

— Где? — изумился Рубцов.

Я показал в сторону страшно уродливых корневищ, черневших на том берегу реки, где слегка колебалась листва, в которой порхала безмолвная птица. И вдруг при свете луны, за кустами, около леса возникла избушка с железной трубой, над верхом которой, будто старушечьи волосы, плыли пряди тумана. И я выкрикнул. Выкрикнул то, во что так мне хотелось поверить:

— Это же ведьмы! Это они поют детскими голосами! Они же по-детски и плачут!

Николай тоже взглянул туда, где повиделась мне избушка, потом перевёл глаза на костёр, а после — на зыбкий небесный зенит, на котором, как клюква среди болота, алели некрупные звёзды.

Мы долго лежали возле огня. Затем Николай привстал, привалил к костру сухую корягу, прикурил сигарету и, ничего не сказав, ушёл в темноту. Я слышал шорох шагов, удалявшихся по песку, видел горевшую ягодкой сигарету, которая то поднималась, то опускалась. Вернулся Рубцов не скоро: в глазах смущённое удивление, будто нашёл что-то слишком ему дорогое.

— Знаешь, — сказал он, — я завтра за рыжиками пойду! Оставайся ещё на денёк! Вместе и сходим!

Три дня провёл я с Рубцовым в Никольском, встречаясь с его друзьями, купаясь и загорая, бродя по скошенным поймам, погостам и косогорам. И было такое чувство, будто прожил здесь целые годы.

Уезжая на мотоцикле, долго оглядывался назад — на ольховую изгородь вдоль просёлка, на которой сидел Николай, помахивая рукой.

Через несколько дней пришло от него письмо. Среди строчек письма были такие:

«...Сразу после тебя целые сутки у нас был дождь. Сразу же после дождя я побежал в лес искать рыжики. Рыжиков не нашёл, но зато написал стихотворение о том, как много в лесу бывает грибов. Это стихотворение наполовину навеяно случайно сказанной тобой строчкой (а может, и не случайно): «Ведьмы тоже по-детски плачут». Посылаю его тебе. По-моему, оно получилось неплохим...».

Не судьба

К Нине Алферьевой, светловолосой, броского вида девчонке с мечтательными глазами был Коля Рубцов уж очень равнодушен. Чувства свои, как и многие из мальчишек, он выражал через колкости и насмешки, то и дело таская девочку за косички.

Через 12 лет встретился с Ниной Рубцов в том же самом селе Никольском. Пришёл к ней домой с первым своим рукописным сборником «Волны и скалы». Вот как об этом расскажет Нина:

«Я его видела в Николе в шестьдесят втором году. Сам пришёл ко мне в дом. Удивилась, что он такой лысый. Читал стихи из сборника не в переплёте. До этого времени я о Рубцове почти ничего не знала. И не думала, что он пишет стихи и даже печатает их. В тот день он пел свои песни.

Играл на гармошке. Как он играл! Его игру я помню ещё по детдому. Мы часто собирались вместе и пели песни, которые только что слышали в просмотренном кинофильме. Запоминали их по рядам. Первый ряд заучивал первую строчку, второй — вторую, и так — до конца. Мелодию тоже быстро перенимали. И на другой день новая песня была уже нашей. Пели, как принято, в спальне. Рубцов подыгрывал на гармошке. И вообще я помню его очень живо. Так бы, казалось, его и окликнула: «Колька-Рубец!» Так мы звали его в Николе. Иногда я дралась с ним. Однажды он сжёг все мои фотографии и открытки. Ох, как я плакала! А он смеялся.

Я об этом ему рассказала в ту нашу последнюю встречу в Николе. Он удивился, сказав, что никак не припомнит такого печального случая...»

Не просто так заходил Рубцов к той симпатичной, в которую был влюблён ещё в детские годы. Имел на неё серьёзные виды. Тем более Нина Алфеева выросла в девушку статную. И могла бы составить Рубцову хорошую пару. Да вот, не судьба. Почувствовал это Рубцов и, раздвинув меха гармони, спел на прощанье одну из самых отчаянных песен, вложив в неё силу и удаль своей неприкаянно-пылкой души:

*Потонула во тьме отдалённая пристань,
По канаве помчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался милицейский свисток.*

*Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,
Все призывы и звоны из Кремлёвских ворот.
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ.*

*Ну так что же! Пускай рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет затаившийся снег!
На тревожной земле, в этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.*

*А последние листья вдоль по улице гулкой
Всё неслись и неслись, выбиваясь из сил.
На меня надвигалась темнота закоулков,
И архангельский дождик на меня моросил....*

Светопреставление

Ежели я попадал в Никольское в тёплую летнюю пору, то обязательно следовал за Рубцовым и, в первую очередь, на реку, где мы купались и загорали.

В тот раз мы шли по суплеску Толшмы куда-то за крайние избы села. На косогоре, в зарослях лопухов и могучей крапивы виднелись ящичные обломки, а чуть повыше — калитки, лавочки и кресты.

— Это — кладбище, — подсказал мне Рубцов и предложил: — Давай заглянем!

Я отказался. Рубцов же, хрустя по кустам, поднялся наверх. До кладбища он не дошёл. Остановился — весь выжидательность и тревога. Там как будто кричали — негромко, однако настойчиво. Мне показалось, что кто-то оттуда передавал ему свой привет — живому от неживых.

Он возвратился и закурил.

— Ужасное место! — невесело хохотнул. — Чего бы там делать? А вот. Иду, будто кто приказал.

Я показал ему на обломки:

— А это чего?

— Гробы, — ответил Рубцов, — их всё время тут вымывает. Вода по весне — винтом! Иногда зальёт весь погост. Помню, когда я был вот таким, — Рубцов показал ладонью где-то чуть выше уровня живота, — что здесь творилось! Лёд и вода! И ливень! С громами. Кресты шатаются и трещат! Гробы, что тебе крокодилы! Всплывают! Мечутся тут и там! Много ушло по реке...

Лет через двадцать, когда в Тотье встречались выпускники Никольского детского дома, я вновь услышал о гробах, которые, как я понял, в злую весеннюю непогоду то и дело тревожит высокое водополе, вырывая их с останками из земли.

Словом, Рубцов нигде правдой не поступился. Всё описал, как было:

*...Неделю льёт. Вторую льёт ...Картина
Такая — мы не видели грустней!
Безжизненная водная равнина,
И небо беспросветное над ней.*

*На кладбище затоплены могилы,
Видны ещё оградные столбы,*

*Ворочаются, словно крокодилы,
Меж зарослей затопленных гробы,*

*Ломаются, всплывая, и в потёмки
Под резким неслабеющим дождём
Уносятся ужасные обломки
И долго вспоминаются потом....*

Родня

Как-то я спросил у Рубцова: почему же он написал «На войне отца убила пуля», тогда как отец его возвратился с войны живым?

Ничего не ответил мне Николай, но померк, поугрюмел, выражение горьких чувств отпечаталось на лице. И мне стало ясно, что Николай, сочиняя это стихотворение, не знал об отце ещё ничего и считал, что его убили. А ведь ждал, наверное. Ждал всю войну его возвращения. Ждал и после войны, находясь в Никольском детдоме, и полагал, что отец непременно его разыщет. А вместе с ним разыщет Алика, Борю и Галя, соберёт их всех вместе, и станут жить они снова единой семьёй.

Возможно, Михаил Андриянович так и рассчитывал поступить. Но война смешала все карты. На фронт уезжал он летом 1942 года. В Вологде формировался ударный батальон. Батальон вошёл в состав 250-го конвойного полка НКВД и вскоре был брошен под Тихвин. С первых дней службы в действующих частях Михаил Андриянович являлся политруком роты. Вернувшись с войны, работал в ОРСе Монзенского, а потом и Белоручейского леспромхозов. В Вологду переехал в послевоенные годы, устроившись, как и до войны, в отдел снабжения Северной железной дороги. Вскоре женился. Вторично стал отцом сыновей Алёши, Гени и Саши. Дети от первой жены Алик, Галя, Коля и Боря пробивали дорогу в жизнь, каждый как мог. У Коли эта дорога шла по маршруту: Красково — Никольское — Тотма — Архангельск — Мурманск — Ленинград — Москва — Вологда.

Знаю, что у Рубцова хранилось фото отца. Со снимка глядит сухощавый, тревожно поживший мужчина лет пятидесяти пяти в белой рубаше и галстуке под поношенным пиджаком, сидящий в маленьком кабинете за телефоном. На фотокарточке надпись:

*«На долгую память дорогому Сыночку Коле.
Твой папка. 4/III-55 г. М. Рубцов».*

Знаю и то, что Рубцов встречался с отцом не однажды. Но об этом он всегда говорил неохотно. Еще неохотнее говорил о своих сводных братьях. Однако однажды не удержался. Вспомнил Геннадия. Причем, с удовольствием вспомнил, с улыбкой фамильного восхищения: *«Он очень талантлив. Талантлив в умении повелевать. Он — гений улицы. Знаешь, какой хулиган! Его там, в Октябрьском посёлке, вся шпана уважает!»* Последний раз виделся Николай с отцом в 1962 году, когда поступил на учебу в Литинститут. В письме своём Михаил Андриянович обращался к сыну с отчаянным криком беды и надежды:

«14 Августа 1962 г. Г. Вологда.

Здравствуйте дорогой родной Сыночик Коля!

Первым долгом сообщаю, что здоровье моё после твоего отъезда сильно ухудшается, почти ежедневно сердечные приступы, вызывали Скорую помощь. Зделают укол. Правда, на время боли прекращаются, а потом опять это же. Медикаменты...пользы не дают. Дорогой Колечка узнай пожалуйста можно или нет попасть к Профессору хотя бы на осмотр и консультацию. Неплохо бы попасть в Больницу, узнайте пожалуйста и опишите мне, какие надо документы и когда можно приехать. Привет от моей семьи.

Твой отец М. Рубцов.

24/VIII-62 г.»

Не только к отцу, но и к братьям Алику и Борису и к сестре Галине испытывал Николай чувство близости и приязни, хотел увидеться с ними и часто писал свои розыски-письма. Вот одно из них в Череповецкое отделение милиции:

«Уважаемые товарищи.

Очень прошу Вас сообщить мне адрес Рубцовой Галины Михайловны, г.р. 1929, которая сейчас проживает в г. Череповце. И еще очень прошу сообщить мне об этом, не задерживаясь, т. к. мне это совершенно сейчас необходимо.

Она моя сестра.

С уважением Рубцов Николай.

Мой адрес: г. Вологда, ул. Ленина, 17. Союз писателей».

С братом Аликом Николай встречался под Ленинградом, даже жил у него какое-то время. Алик порой посылал Николаю письма. В них, как правило, вкладывал собственные стихи. Уровень этих стихов можно представить по маленькому отрывку.

...Плюют в лицо деревья мне.

Нигде моей деревни нет.

Совсем я заплутал.

*На небе тучи корчатся,
Завыть от злости хочется,
Но голос потерял....*

В том же письме Алик сообщал Николаю и об отце: «...*Не знаю в курсе ты или нет, что отец умер в 1962 г., рак пищевода...*»

Летом 1964 года Алик приглашал Николая к себе в Ленинград. Рубцов собирался к нему поехать. Но не собрался. Об Алике он говорил мне с нежностью и любовью, как он гостил у него в Приютино, слушал его игру на баяне, как вместе они чудили и веселились, писали экспромтом задиристые стихи.

Не выходил из памяти у Рубцова и младший брат его Боря. После долгих розысков Николай узнал его адрес: Краснодарский край, Успенский район, хутор Соседелийский, Рубцову Борису.

Адрес этот прочёл я в потрёпанном бархатно-чёрном альбомчике, который служил Николаю как записная книжка в течение пяти с половиной лет. Запись адреса брата была одной из последних. Так и не смог Николай после разлуки в Краскове ни улыбнуться Борису, ни руку пожать, ни сказать ему самого нужного слова.

По зелёным тропинкам

Тот июльский приветливый день не вошёл, а ввалился мне в душу, и я запомнил его подробно. Как сейчас вижу северное село, в котором смешались большие и маленькие дома. Вижу расшатанные заборы, березы с тяжёлым навесом листвы.

Вижу зелёный угор с чёрной баней, стайкой черёмух и огородом. Вижу бревенчатый дом, одно оконце которого грустно светится с длинного косогора в сторону маленькой речки Толшмы.

Затерялось село Никольское в самой глубинке России, среди осиновых перелогов, речушек, болот и овсяных полей. У села нет громкого имени. Как вспоминают старушки: «Из века в век тут крестьяновали, подымали хлеба на нивках, держали коров». Здесь, в Никольском, в сороковые годы прошлого века, во время войны с гитлеровской Германией открылся детдом, куда свозили сирот, среди которых был и маленький Коля.

Здесь, на родине тотемских землепашцев, вырос русский поэт, через избушку на склоне холма, через речку, бегущую по камням, увидел Россию с её прекрасным и смелым народом, с её страстями и доброй душой.

Июль. Златопёрая маковка лета. В Никольское я приезжал и раньше. Потом приеду опять и опять. Приеду к Рубцову и к тем деревенским местам, какие любил Николай, пока колотилось в нём его беспокойное сердце.

Но сейчас мы вдвоём. Я иду, как привязанный, следом за Николаем. Одет он в лёгкие босоножки и белую с воротом нараспашку рубашу, в кармане которой пачка «Примы» и спичечный коробок. Возле конторы и магазина, где постоянно толпится народ, мы проходим ускоренным шагом. Рубцов не желает, чтоб имя его склонялось по всем падежам.

Объясняет:

— Многие здесь меня совершенно не понимают. Пройдусь по улице босиком — я уже бескультурье. Выпью с приятелем — алкоголик. Для большинства я — последний бездельник. Хотя какой я бездельник? Я тоже работаю, как и все. Но работа моя невидима никому, потому что она протекает вот здесь! — Николай похлопал себя по груди. — Впрочем, я на людей нисколько не обижаюсь. Потом они станут ко мне относиться лучше, поймут, что я тоже жил не без пользы.

Невдалека, за покатым склоном сталисто посверкивает река. Над нею толпятся кусты краснотала. Мы спускаемся вниз среди смолк, синюх, гвоздик и калужниц. Из высокой травы вырастает одетая в белое платьице с белыми лентами в волосах большеглазая крепенькая малышка. Вырастает, словно цветок с человеческими глазами.

Мы с Рубцовым остановились. Почему-то нам стало забавно. Захотелось с малышкой поговорить.

— Девочка, девочка, сколько нам лет?

Девочка задержала свой взгляд сначала на голове Николая, где так немного осталось волос. Потом задержала и на моей — непричёсанной и лохматой.

— Тебе, дяденька, двадцать! — показала пальчиком на меня.

— А тебе — пятьдесят! — показала на Николая.

Рубцов огорчился. Чего-чего, а такого преклонного возраста он для себя не хотел. Тем более было ему всего двадцать восемь. Столько же, сколько и мне.

Тут меня дёрнуло за язык дать Николаю совет:

— Тебе бы, Коля, парик — сразу бы стал в два раза моложе!

Николай рассердился:

— И ты, как Валька Борзенин! — вспомнил нашего общего с ним знакомого, с кем мы когда-то учились в Лесном. — Тот тоже увидел меня и давай хохотать: «Какой ты смешной! Где твоя красивая шевелюра?».

«Перестань!» — говорю я ему. А он со своим дурацким советом. «Ты, — говорит, — сейчас старичок, а надень паричок — мигом помолодеешь!» Ну, точно, как ты...

Долго Рубцов поносил Борзенина и меня. Перестал поносить только после того, как мы искупались. А потом, возвращаясь в село, при виде амбарных весов на гумне он даже заулыбался.

— Взвесимся! — весело предложил.

Мы взвесились. Николай оказался под 60 килограммов. Я — 61.

— Не может этого быть! — Рубцов опять рассердился. — У тебя одежда тяжёлая. Ты меня должен быть легче. Давай раздевайся!

Мы разделись и снова встали попеременно на грядку амбарных весов. Я незаметно поставил ногу. Николай оказался 61 килограмм. Я — 60.

Рубцов снова заулыбался:

— Вот это другое дело!

Интервью

Еда была скучная, и Рубцов, раздражаясь, сетовал так, как если бы в чём-то был виноватый:

— Надо же так! Как гость приедет, так и не знаю, чем его угостить.

Но я успокоил его, сказав, что еда вообще меня не волнует, и тут же собрался пойти по делам. И Николай вслед за мной. Я намекнул, чтобы он не ходил, потому что в делах моих развлекательного не будет. Рубцов рассмеялся:

— Я хочу посмотреть, как работают корреспонденты! Ведь я не видел тебя никогда в твоём деле. Может быть, чем-нибудь я тебе попытаюсь помочь?

Сначала мы заглянули в контору колхоза. Я ушёл в кабинет председателя — записать там фамилии тех, о ком можно давать в газету заметки. Николай же остался в просторной с высокими стенами комнате, где семь или восемь столов и за каждым — по человеку.

Просматривал ворох газет и журналов. В комнате было тихо и скорбно, как в вестибюле районной больницы, и Рубцов измаялся, ожидая.

— Ну и сидел ты там, — упрекнул меня при выходе из конторы, — как самый усердный корреспондент.

На улице было жарко. Дорога белая-белая, точно засыпанная мукой. От пробежавшей ватажки овец повеяло облачком пыли.

— Ни за что бы мне не привыкнуть к конторской работе! — сказал Николай, оборачиваясь назад. — Воздух там напряжённый. Все молчат, а как будто друг с другом спорят.

Я попытался представить Рубцова специалистом колхоза. Однако из этого ничего у меня не вышло, и я подкинул вопрос:

— Если бы ты стихов не писал, где бы тогда стал работать?

Рубцов улыбнулся:

— Скотником! Хотя нет! Наверное, в поле!

— Как трактористы, к которым сейчас идём?

— А что! — В голосе у Рубцова зазвучала задорная нотка. — Среди трактористов встречаются и поэты! Но, в отличие от меня, поэты не слова, а дела. Однако и я лицом в грязь не ударю. Потому что предчувствую. — Тут Николай опять улыбнулся:

Моё слово верное прозвучит!

Буду я, наверное, знаменит!

Мне поставят памятник на селе!

Буду я и каменный навеселе!..

Мы рассмеялись. Открыли берёзовый отводок и двинулись по полемому просёлку.

— Гляди! — Николай кивает на обочину при дороге. Слева, возле картофельных гряд, как мальчишки в синих рубашках, босоногие васильки. — Чьи они? — думаешь поневоле. Ведь для кого-то вспыхнули эти цветы своей молодой синевой. Они так хрупки. Их боязно взять даже в руки. Сорвёшь — тотчас же они повянут, поникнут головками, как неживые. Смотри на них! Запоминай их тишайшую нежность. Словно это глаза караульщиков лета. Смотрят глаза за дорогу. А там такая же стайка бегущих вдоль хлебного поля белых ромашек. Им бы встретиться! Да не могут. Дорога их развела, как судьба.

Я вижу, что Николай в весёлом расположении духа. Воздух конторы им позабыт. В карих глазах поблескивают смешинки.

Косилка стрекочет внизу, и мы сворачиваем с дороги. Тракторист, смекнув, что идём мы к нему, останавливает машину. Желтоволосый, с круглым лицом, голубыми, на выкате маленькими глазами, одетый в коричневую рубаху и тапочки на босу ногу, он ложится рядышком с нами на мягкую кошенину.

Тракторист оказался речистым. Знай, задавай ему только вопросы. Я узнал от него, что он на тракторе третий год, каждый день справляется с нормой,

любит колхозную технику, репетирует в клубе новую пьесу, копит деньги на мотоцикл, играет в футбол, из газет читает «Правду» и «Красный Север».

Очерка я писать о парне не собирался. Так, что-то около зарисовки. Потому занёс в свой блокнот: «110%. Тракторист и артист. Краснощёкий. Волосы жёлтые. 12 центнеров за год. Улыбчив. Хочет купить мотоцикл».

Пользуясь тем, что я замолчал, в разговор вмешался Рубцов.

— Не женат?

— Была бы невеста, жениться недолго.

— А что же делать?

— Искать!

— А для этого что?

Парень вздохнул, взворошив на затылке пригорок соломенно-жёлтых волос. По всему было видно: вопросы Рубцова задели его за живое.

— Купить мотоцикл, и поездить по сельсовету. В первую очередь, в лесопункт. Там девок — гибель.

— Значит, женишься скоро! — сказал Рубцов убеждённо и вдруг без всякого перехода спросил: — Ты знаешь: кто я такой?

Тракторист усмехнулся:

— Студент!

— А кто ещё? — добивался Рубцов.

— Сочинитель стихов!

Рубцов поощряюще улыбнулся.

— Каких поэтов ты знаешь?

— Самых различных: Крылова, Пушкина, Маяковского. Когда ещё в школе учился, любил их читать. А сейчас читаю романы. Про войну, например.

Николай, как и я, остался доволен ответами парня. Тракторист извинился, сказав, что надо ему сегодня закончить пораньше, степенно поднялся, облапил своей пятернёй наши руки и, забравшись в кабину, повёл агрегат по кромке травы.

Трактор ушёл. Сделалось тихо, но и тревожно, словно воздух смутила насторожённость, какая рождается вдруг ни с того, ни с сего накануне грозы.

Мы возвращались в село. Где-то в хлебной траве ударила славка. Серебряный свист поскакал по зелёным колосьям, радуя взятые вечером склоны полей. Выдала птичка коленце и замолчала. Всю окрестность вокруг затопило свежей прохладой. В груди заиграло чувство любви, стало так обнажающе хорошо, что захотелось весь свой восторг положить на цветы, к подножью хлебного поля, в нежных стеблях которого тут и там, беспричинно чему-то радуясь, порхали пёстренькие овсянки.

На сарае

Как правило, приезжая к Рубцову, я всегда ночевал у него на сарае. Николай предлагал кровать, раскладушку и русскую печь. Я отдавал предпочтение только сараю, где было сумрачно и просторно, шуршало сено под головой и пахло подкошенными цветами. Сколько ночей я провёл на сарае? Шесть или семь. А может, и больше. Николай бы и сам с удовольствием спал на сарае, однако был связан с семьёй. Правда, домой возвращаться он не спешил. Уходил от меня только ночью. Долго лежал, глядя сквозь сумерки на высокие связи стропил. Разговаривал. Думал. Курил.

Сюда, на сарай, не помню такого вечера, чтобы кто-нибудь к нам не взбирался. Приходили обычно ребята-отпускники, те, кто когда-то учились с Рубцовым в школе. Были и местные, жившие здесь постоянно. Всем хотелось послушать Рубцова, да и самим вступить в разговор, который тем, пожалуй, и был интересен, что мог идти обо всём. Кое-кто из ребят был готов причислить себя к легиону поэтов, и потому приносил с собой записную книжку или тетрадку, куда были выписаны стихи. Каждому льстило узнать объективное мнение Николая. Наш сарай превращался в читальный зал. Слышались строфы стихов, нервные выкрики, резкие споры. Анархии не было никогда: Рубцов после каждого, кто читал, приводил на память стихи поэтов минувшего века, и этим самым давал нам возможность сопоставить поэзию Пушкина, Тютчева, Лермонтова и Фета с теми стихами, которые здесь выносились на суд. Преимущество классиков было наглядным, и спор моментально ослабевал. Расходились ребята всегда неохотно, словно здесь, на сарае, ещё продолжался удавшийся вечер, а там, куда им предстояло уйти — однообразная скучная ночь, после которой — такое же скучное утро.

Тот летний вечер, когда Николай привёл меня на заваленный сеном прохладный сарай, я запомнил лучше других потому, что шумела гроза. Мы лежали с Рубцовым на одеялах. К нам, несмотря на молнии, ливень и гром, скрипя ступеньками лестницы, поднялся сначала тот самый желтоволосый механизатор, у которого мы брали днём интервью, а потом, тоже весь мокрый, в прилипшей, как блин, к голове детской кепке веселолицый молоденький зоотехник. Николай взглянул на него, загроживаясь ладонью:

— Опять со своими частушками?

Зоотехник, будто его похвалили, так весь и высветился в улыбке:

— Новые! Лучше вчерашних! — И, пошарив рукой под сырым пиджаком, достал из кармана исписанный мелкими буквами листочек.

Рубцов повернул листочек к свету, сочившемуся в оконце, прочитал и спросил с раздражённой досадой:

— Зачем ты их сочиняешь? Хороший поэт никогда частушки не сочиняет! Потому что они рождаются сами собой! И автор у них не поэт, а народ! Неужели ты хочешь с народом соревноваться?

Зоотехник ничуть не обиделся. Но заметил:

— Я на вечные темы писать не умею. Мне подай сегодняшний день. Как говорится, на злобу момента. Тут уж я развернусь!

Рубцов приподнялся на одеяле, поднял палец в сторону крыши, по которой хлёстко постукивал ливень.

— Напиши про грозу!

Зоотехник сконфузился.

— Не получится. Столько написано про неё. У тебя ведь, кажется, тоже...

— Что — тоже?

— Нет стиха про грозу!

Николай что-то глухо пробормотал, сунул в рот сигарету и, ничего не сказав, начал спускаться по лестнице в сени. Тракторист с зоотехником тоже двинулись следом за ним.

Я остался один. Было слышно, как бурно хлестала вода, обрывая листья крапивы. Дождь меня убаюкал. Однако за полночь я проснулся, услышав справа, за тёмной стеной, где находилась роща деревьев, топот, кряхтение и хруст. Мне представилось, будто под окнами дома проходят громадные мужики, возвращаясь с колхозной работы. Всё идут и идут и никак не могут пройти, настолько их много.

Утром я пробудился от тишины, в которой услышал, как расправляла свои стрекучие листья, сшибая с них капли дождя, подкрылечная вымокшая крапива. Вскоре шаркнула дверь, простучали шаги, и над лестницей вырос Рубцов.

— Ты не спишь?

— Не сплю.

— А на улице, знаешь, что сегодня происходило?

— Происходила гроза.

— Хочешь снова её услышать?

Я кивнул, и Рубцов, усевшись на потолочную балку, закурил сигарету и, помогая голосу, разрубил ладонью светлеющий воздух:

*Поток вскипел, и как-то сразу прибыл!
По небесам, сверкая там и тут,*

*Гремело так, что каменные глыбы
Вот-вот, казалось, с неба упадут!
И вдруг я встретил рухнувшие липы,
Как будто, хоть не видел их никто,
И впрямь упали каменные глыбы
И сокрушили липы... А за что?!*

Молоко, стихи и гармошка

Почему же Рубцов затащил меня в этот дом, где жил пенсионного возраста педагог, который когда-то учил его в школе? Наверное, он хотел приятное сделать и мне, и учителю, и себе. Потому что всегда полагал, что хорошие люди должны встречаться по зову сердца, без выгоды и расчета, как встречаются братья по духу, которым друг друга не достаёт.

Комната с длинным столом. На окнах кисейные занавески. В комнате двое — бывший учитель и бывший служащий сельсовета, оба с ухоженной сединой, моложавыми полными лицами и глазами, которые знают, когда на кого и как предпочтительнее смотреть. На нас они посмотрели недоуменно. И подозрительно в то же время.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

Четыре слова. Четыре пожатия рук. Я сразу почувствовал: зря мы сюда. Не надо бы нам заходить. Николай, конечно, поторопился. Время меняет людей. Может, когда-то учитель и служащий были попроще и допустили бы, видимо, нас до себя, чтобы мы разговаривали на равных. Но сейчас ощущалась дистанция, с которой им было удобней вести разговор — отечески-сдержанный и холодный, не позволявший держаться с нами накоротке.

— Мы хотели бы вас пригласить к себе в гости, — сказал Николай, — и угостить.

Учитель ответил:

— Угощает не гость, а хозяин, — и, выйдя в чулан, принёс оттуда стеклянный кувшин молока. И стаканы принёс. Налил мне и Рубцову.

Николай повернулся ко мне.

— Вот Серёжа Багров! — представил меня. — Работает в Тотьме, в районной газете.

Пенсионеры уставились на меня.

— Так это ваши статьи и очерки мы читаем! — воскликнул бывший учитель.

— Да ведь вы пишете и стихи! — так же жарко воскликнул и служащий сельсовета.

Николай позабыт. На него никакого внимания. Словно его и не было здесь. А в мой адрес посыпались дифирамбы: я и талантливый, и писать умею почти как писатель, и читают меня с интересом.

Зачем они так? Да затем, чтоб обидеть Рубцова, дать почувствовать мне, что в Никольском его уважает не каждый.

От молока мы, естественно, отказались. Ушли. А минут через пять оказались на берегу речки Толшмы, около бань.

Время близилось к вечеру. Дул ветерок, приносивший с лугов запах скошенных клеверов. Вскоре мы стали читать друг другу стихи. Вспомнили Блока. Мне показалось, что Николай одну его строчку прочёл искажённо. И я поправил. Рубцов изменился в лице, посмотрел на меня с ядовитым прищуром и опять повторил эту строчку. Я с ним снова не согласился. Разгорелся нелепый спор.

Определённо, что Николая вывела из себя не только блоковская строка, которую он прочитал, быть может, и верно, а я так некстати взялся его поправлять, но и то, что его в Никольском не понимают, не видят в нем истинного поэта, и хотят от него не стихов, потому что к стихам здесь относятся несерьёзно, а обычного дела, каким живут все крестьяне села. Это почувствовал он, находясь в доме бывшего педагога, где с ним обошлись, как с посредственным парнем, которым можно и пренебречь. Всё это вместе его и взорвало.

Однако мы попытались унять свои нервы и расставаться друг с другом не стали и даже направились в клуб.

Клуб не улучшил нашего настроения. Без дела слоняющийся народ, билль-ярд с поломанными киями, плакат с гладкой женщиной, в чьей руке початок литой кукурузы, неприютные голые стены, сор на полу — всё здесь было каменно-то запущенным и казённым.

Николай зашёл в боковую комнату, вынес оттуда гармошку. Уселся на стул. Заиграл.

Все, кто сучал, бездельничал и слонялся, повернулись тотчас же на голос гармошки, выдававшей привычные старые звуки. Однако с особой энергией выдававшей, яростной страстью и сильным желанием выразить нечто душевное, русское, застоявшееся в груди. Не прошло и минуты, а возле Рубцова — уже молодой симпатичный народ, кто глядит на него с простодушной улыбкой, кто садится рядом на стул, а кто, топоча, пытается что-то несмело сплясать.

Недолго играл Николай, приглашая гармошкой на круг ещё не отвыкших ходить под «русского» резвых плясуний и плясунов, а что-то в нём по-хорошему изменилось. От недавней угрюмости не осталось даже намёка. На лицо пробилась искрящаяся улыбка, плечи, растягивая гармонь, выражали раздольную удаль, в глазах — одержимость. Ещё секунда — и он, распираемый радостью, сам ударится в резвую пляску. Но вместо этого он передал гармошку рядом сидевшему парню, встал и, кивнув в мою сторону, медленно тронулся на крыльцо.

На улице влажно, тепло и тихо. Свечеревшие возле школы старые тополя по горло запружены белым туманом. Туманом завалена и дорога, которой мы двинулись к месту ночлега. Слышно, как возле реки прозвенел удилами па-сущийся конь.

Качели

Сколько друзей у Рубцова — столько, кажется, и костров. Для каждого, кто приезжал к нему в гости, он разжигал вечерний костёр.

В тот летний вечер было нас трое: Рубцов, приехавший в отпуск друг его детства Ваня Серков и я, оказавшийся здесь опять по заданию местной газеты.

Обитые жадным огнём сухие кокеры раки стреляют жёлтыми угольками. Вокруг костра по песку — белый круг. Высвечен он настолько подробно и ясно, что видно каждую щепочку и песчинку. Здесь — день. За кругом же — плотная темень, её не способны были пробить даже звёзды.

Мы лежим и молчим. Слышим журчание струй мелководной реки, по которой плывёт, не трогаясь с места, отражённая пляска костра. Вечер мы ощущаем сквозь шелест ветвей надбережных раки. Вечер прохладный, большой и щедрый. В нём много заснувших цветов и листьев, бодрой свежести, тишины и затаившихся до утра вдоль реки деревенок и сёл.

Рубцов закурил сигарету и с грустной досадой заговорил:

— Хиреют деревни. Вот и Никола. Чувствую я её, как человека перед болезнью.

Мы с Серковым не поняли Николая и попытались ему возразить:

— Она же красива?

— Красива снаружи, — продолжил Рубцов, — да и то лишь в хорошее время года. А могла бы красивой быть постоянно. Вся беда, что в её красоте нет возвышенной силы. Где церковь? Где весёлые праздники? Где необычные

люди? Но главное: в ней оскудела душа. Измельчал человек, и стало вокруг уныло и грустно. Боюсь, что сбегу отсюда. Вероятно, в Сибирь, где ещё русское не исчезло.

Мы улыгнулись, зная, что Николай на подобное не решится.

— Если ты и сбежишь, — сказали ему, — то всё равно возвратишься. Ты не сможешь нигде без Николя. А русского... Русского много и здесь, только оно изменилось.

— Может быть, вы и правы, — согласился Рубцов.

О многом мы говорили в тот вечер. Кроме костра, речки Толшмы и тёмных кустов нас слышать могло только небо. Станным было оно. От горизонта до горизонта летали неяркие всполохи звёздных огней. То туда, то сюда. Словно там, в вышине, раскачивались качели, которые запустила чья-то загадочная рука.

— Тишина, покой и свобода, — сказал Николай.

Мы с Серковым переглянулись. Определённо, Рубцов этими навсегда улетевшими в ночь словами выразил суть отдохавшей природы. Природы-матери, которая принимала в своих хорах хорошо понимавших её гостей.

Счастливая память

Утро. Воздух пронизан приятнейшим холодком. Солнце ещё не успело собрать на перьях травы луговую росу.

Мы идём с Николаем вдоль Толшмы к деревне Успенье.

Слева, за берегом речки — холмы. На каждом — по маленькой деревушке. Топятся печи. Дым над трубами и туман смешались в одно, и на нас наносит приветливым духом жилого. От этого духа в душе возникают картины былого. Идут картины одна за другой, и видится в них походка далёкого детства. Сегодняшний день отошёл куда-то за ивняки, и чудится, будто ты маленький, худенький и босой, и всё вокруг затоплено бывшим, и рядом с тобой ступает тот самый, двадцатилетней забытости утренний август.

— О чём задумался? — спрашивает Рубцов.

— Да так, — отвечаю, — вроде бы, вспомнилось детство.

— И мне оно вспомнилось! — рассмеялся Рубцов. И вдруг придержал меня за руку.

— Видишь? — кивнул за реку.

И, конечно, я сразу увидел и сразу понял, что имеет в виду Николай. От воды, проломившись сквозь заросли ивняка, бежал по лугу мальчик в зелё-

ной рубашке. Был он бос, брючки засучены до колен, на взлохмаченной огненно-рыжей головке словно бы выпахнул костерок. Дорога у малого до деревни. Каких-нибудь сорок шагов.

Смотрит Рубцов вдогонку юному бегуну. Смотрит сквозь ивняки, сквозь траву, сквозь звенья забора, сквозь годы, будто увидел в парнишке своё невозвратное детство. До детства было так близко. Перебреди лишь реку, избеги на угор, и ты настигнешь его и узнаешь в лохматом парнишке себя самого, прибежавшего в нынешний день из того, который оставлен тобой в завершившемся прошлом.

— Поздно, — сказал Николай. И снова я его понял, как человека, который расстанется с детством только тогда, когда от него отобьётся счастливая память.

Зависть

Страшно скакала лошадь. Ещё страшнее стоял на телеге высокий парень в ковбойке. Вожжи были оборваны и волочились, прыгая, по дороге. Парень вообще ни за что не держался.

Мы с Николаем только что вышли к дороге, поднявшись к ней от реки, где купались, и услышали грохот колёс. Лошадь была вороная. Скакала, мотая разнузданной мордой. Сейчас расшибёт! Мы с Рубцовым попятились от дороги. Встречный ветер хлестал по конскому рылу, торцам оглобелей и безмятежно спокойному парню, чью ковбойку выхватило из брюк, и она с тихим хлопанием парусила.

— Куда-а ты-ы? — крикнули в оба голоса парню.

Но он не слышал. Стоял, как вколотенный, и не падал, хотя телегу трясло и кидало, и мнилось, что вместе с бешеной вороной летит по дороге сама катастрофа. Мы уже ничего не кричали. Однако в груди у нас билась слова: «Боже, его сохрани! Ну, кто-нибудь, кто-то остановите!» Но некому было остановить.

Прогрохотав по мосту, телегу с парнем метнуло следом за лошастью в гору. Лицо у парня мы видели две-три секунды. Было оно размывчатым и бесстрастным, не выражавшем, кажется, ничего, как будто было ему уже всё безразлично.

Ещё минута — и клетчатая ковбойка пропала за срезом угора, в поднимающейся тут же дорожной пыли. Рубцов вздохнул и сказал:

— Он самый счастливый!

Я изумился:

— Кто? Этот дикарь?

— Этот наездник!

— Но почему?

— Ему хочется жить по-другому! Он тем и прекрасен, что нет ему дела: куда унесёт его сумасшедшая лошадь. Он ничего не боится. Честное слово, завидую этому храбрецу!

У овсяного поля

Побывавших в Никольском друзей Рубцов обязательно провожал, оставив какую-нибудь грузовую машину. Таким бы образом он проводил в тот день и меня. Однако попутки не подвернулось. А ждать специально её мы не стали. Решили: пускай нас настигнет она в дороге.

Километра, наверное, полтора отошли от села. Слева в глаза ударило пестротой разноцветных оградок.

Кладбище. Вечер. В малиново-тёмном закате светятся листья железных венков. Берёзы смиренны и покойны, как женщины подле заснувших детей. Голубоватое небо присыпано серым. Вот-вот опустится летняя ночь. Мы ощущаем щемящую грусть. Не от могил эта грусть — от вечернего воздуха, кротко висящего над крестами. И вдруг доходит до нас, что в этом воздухе плавают образы бывших людей, которых здесь погребли, и от них осталась нетленная память. Все они, молодые и пожилые, младенцы, дети и старики, ушли от нас налегке, погрузившись в свой бесполезно-загадочный сон. Рубцов глядит на печальные знаки, торчащие из земли, словно чьи-то прощальные руки.

— Каждому памятник — крест, — говорит.

Тут мы услышали голос мотора. От перемычки над ручьевинной бежал зелёный молоковоз. Николай поднял руку. Машина притормозила.

— Этого человека, — Рубцов показал водителю на меня, — надо до пристани довести!

Водитель раздвинул губы в простецкой улыбке:

— Довезу! Довезу!

Молоковоз помчался к овсяному полю. Спустив стекло, я высунулся из дверцы. Увидел кусочек кладбища с пышной берёзой, робко блеснувшей листовой на макушке, пару крестов и звено синеваы оградки, а перед нею в распахнутой белой рубахе Николая, будто хозяина этих нерадостных мест.

Лет через десять я вновь проходил мимо этих оградок. Но часом раньше,

ещё на дороге к селу — а шёл я от Верхней Толшмы к Усть-Толшме — встретил одетого в ветхий пиджак молодого плешивого мужика. Мужик был не в духе, что-то его угнетало. Взглянув из-под потных бровей,дохнул на меня горячим водочным перегаром:

— Ты — кто?

Я назвал себя пилигримом. Мужик презрительно усмехнулся и, закурив, кивнул на ближайшие избы села:

— К кому?

— К Николаю Михайловичу Рубцову.

— Кто таков?

Я неприязненно поразился:

— Ты разве не знаешь?

— А где он живёт? — на вопрос вопросом ответил мой собеседник.

— Везде, — сказал я ему и зашагал по пыльной дороге к берёзовой изгороди села. К душе прилегло ощущение промаха, будто я обманулся, явившись в Николу, где так хотелось мне провести пару дней. И вот почувствовал: не могу. Не могу задержаться даже на миг. Плешивый мужик для того, казалось, мне и попался, чтоб я подумал о нём с неприязнью. О нём и вообще обо всех остальных, у кого короткая память о человеке, который ушёл от нас навсегда. Ушёл, забрав с собой поэтическое богатство, чем жила его молодая душа, и этим нанёс урон землякам, сделав их будни скучнее, чем они были.

Уже за селом, спустившись с угора к мосту, а затем, поднявшись к ольховому перелогу, я вновь, как тогда, при свете вечерней зари разглядел простоту печальных оградок. Таким же глянцевым блеском играли листья железных венков. Так же покойно дремали берёзы. А в воздухе плавали те же нетленные образы тихо ушедших в былое почти никому не известных людей.

Возле овсяного поля я оглянулся. Угол кладбища выдвинулся вперёд, предлагая запомнить залитую светом заката макушку берёзы, несколько старых крестов, звено голубого забора, а перед ним силуэт человека в белой рубашке, который махал мне рукой. Неужели Рубцов?! Нет, конечно. Не он. Это уж мне померещилось: был поздний вечер, заря утонула среди крестов, а подле забора действительно кто-то стоял в белоснежной рубашке. Кто-то, но, к сожалению, не Рубцов.

НАДВИГАЕТСЯ ВЕЧЕР

В Москве

До ледостава реки оставался месяц, и мы с журналистом Васей Елесиным, взяв отпуск, сели на пароход, а потом, по приезду в Вологду — и на поезд. Торопились попасть в столицу, где нас ждал Николай Рубцов, пригласивший его навестить в общежитии Литинститута.

В Москву мы приехали рано утром. Отыскав общежитие, двинулись с ходу на лифт. Однако нас не пустили, сказав, что Рубцов здесь больше не проживает, так как он перешёл на заочное отделение и уехал куда-то вообще из Москвы. К счастью, дежурного мы не послушались, не ушли по его совету туда, откуда пришли. И действительно дождались.

Рубцов в компании шумных студентов ворвался с улицы в вестибюль. Увидев нас, рассмеялся, раскинул руки.

— Это мои друзья! — объявил и, оставив нас на минуту, подошел к высокому, в тёмном плаще, с волевым лицом утрюмому человеку.

— Толя! — сказал ему. — Эти ребята — с тобой!

Высокий кивнул и провел нас мимо дежурного, холодно бросив ему на ходу:

— Со мной!

Вскоре мы оказались в комнате общежития, хозяин которой, в ярком костюме, при галстукке и улыбке, пожал мне и Елесину руки:

— Хазби Дзаболов! — сказал с восточным акцентом

— Осетинский поэт! — добавил Рубцов и повернулся к утрюмому, чтобы и он представился нам.

Но тот знакомиться с нами не собирался.

— Что же ты, Толя?! — сказал ему Николай. — Это мои земляки! Из Тотьмы! Ко мне приехали специально!

Толя глухо пробормотал:

— Не в настроении.

Рубцов понимающе рассмеялся:

— Это меняет дело! — и, посмотрев на нас, кивнул на высокого Толю. — Передреев, русский поэт!

Мы уселись и закурили. Рубцов расспрашивал нас. Мы отвечали. Передреев молчал. Дзаболов дважды срывался из-за стола: в первый раз за сухим осетинским вином второй — за подстрочниками стихов, взворошив в чемодане бумаги. Кстати, найдя листы с намётками нужных стихов, он тут же их отдал Рубцову и попросил:

— Если можешь, Коля, сделай их поскорей!

— Сделаю! — согласился Рубцов.

За столом мы сидели где-то около часа. Разговорился и Передреев, рассказав, как он ездил недавно в Грозный. Рубцов оживился, вспомнив, что был на неделе у Яшина.

— Серёжа! — сказал, посмотрев на меня через стол. — Я показал ему твою напечатанную в вашей газете рецензию на его «Сироту». Он был рад! Такая поддержка, тогда как все его крупно клюют за «Вологодскую свадьбу». Он мне сказал: «Спасибо, Коля!». Я ему объяснил, что рецензию написал не я, а Серёжа Багров. «Нет, ты! — ответил мне Яшин. — Серёжа Багров — это твой псевдоним». Так и не мог я его убедить, что эта статья не моя, а твоя...

Включился в беседу и Вася Елесин, заговорив о том, что поэзия стала какой-то не социальной. Рубцов ему возразил. Передреев тоже сказал ему что-то с сердитым попреком. Вот-вот был готов вспыхнуть спор. Почувствовав это, Елесин вдруг предложил:

— Давайте, ребята, прочитаем друг другу стихи!

Стихи читать никто не хотел, потому к предложению Васи все отнеслись равнодушно. Разумеется, мне и Елесину, как начинающим поэтам, хотелось творческого общения. Москвичи же этим общением были пресыщены, разговоры о судьбах литературы им уже стали нелепы, наскучило и читать друг другу стихи. Передреев, взглянув на Елесина, жестко заметил:

— Стихи читают, когда их заказывает душа!

После обеда мы вышли на волю. Прошлись, балагуря о разных делах. Когда возвратились назад, то обнаружили, что куда-то девался Елесин. Долго его искали по коридорам и комнатам общежития, но не нашли. Я встревожился не на шутку. И Рубцов был встревожен не меньше меня.

— Наверное, кто-то его невзначай обидел, — подумал я вслух, — и он отправился на вокзал.

Рубцов воскликнул, не понимая:

— Но вы же хотели прожить здесь несколько дней?

— Не получится несколько.

— Что же теперь?

— Поеду и я на вокзал! — сказал я Рубцову.

— Тогда подожди! Я тоже с вами! Не уходи без меня. Я только возьму чемодан! — И Рубцов убежал, скрываясь за дверью одной из комнат.

Вскоре за нами захлопнулась дверь на парадном крыльце. Кто-то кричал Рубцову вдогонку:

— Коля-я? Куда ты-ы?

Рубцов даже не обернулся, лишь раздраженно дернул плечом:

— А-а! Надоело тут всё! Домой!

Елесина мы отыскали на Ярославском вокзале. Он стоял уже в очереди у кассы, чтобы взять обратный билет. Я встал перед ним, и мы, сговорившись, решили купить билет и Рубцову. Но Николай отказался:

— Нет! Нет! Мне не надо! Я же билеты не покупаю! Что вы? Не вздумайте, ради бога!

Так и поехали в Вологду в разных вагонах. Я и Елесин — в плацкартном, Рубцов — где-то в общем. Перед тем как устроиться на ночь, пошли посмотреть, как себя чувствует Николай, нет ли каких осложнений и, может быть, в чём-нибудь надо ему помочь?

Ещё из холодного тамбура, перед тем как протиснуться в общий вагон, услышали мы говор гармошки. А затем — и знакомую песню:

*Улетели листья с тополей —
Повторилась в мире неизбежность...
Не жалею ты листья, не жалею,
А жалею любовь мою и нежность!*

*Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья улетели?*

Николай сидел в центре вагона среди молодых, пожилых и старых людей, слушавших песню его с выражением тихого отдыха и надежды. Гармонь трепетала в руках Рубцова, будто живая душа, помогая певцу наполнить вагон щемяще-радостным настроением. Глаза пассажиров блестели. Блестели от слез и восторга. От ощущения близости и любви.

Николай улыбался, играл и пел. Вероятно, в эту минуту испытывал он незабываемое чувство приюта, словно сидели с ним не чужие, а близкие люди, напоминающие родню. И каждый из них вспоминал сейчас самое дорогое и умолял про себя, чтобы песня поэта не кончилась никогда.

Перестали ходить пароходы

Холодный октябрьский ветер гнал по дорогам Вологды листья, бумажки и пыль. Мы с Рубцовым остались вдвоем. Елесин уехал к старшему брату. Было пасмурно и уныло. Хотелось отдыха и тепла. К счастью, встретились мы с Беловым и целые сутки не расставались. Ходили по улицам города, пили чай, потом ночевали в гостинице «Северной».

На следующий день, простившись с Беловым, Рубцов говорил о нём с нежностью брата, который желает ему удачи:

— Он самый талантливый в Вологде человек! Одного не пойму: почему мне «Знойное лето» понравилось меньше, чем все остальное?

— Но это же очень хорошая повесть!

— Белов может писать многим лучше....

Разговор о писателях-земляках мы продолжили на пароходе, который плыл по Сухоне в Тотьму. Затем Николай читал на память стихи Есенина, Тютчева, Фета и Блока. Иногда прерывал своё чтение и с чуть заметной улыбкой спрашивал у меня:

— Что же мне делать там, в твоей замечательной Тотьме?

Вопрос был обыденный, но по грустному голосу Николая, его глазам и задумчивому лицу было видно, что он в него вкладывал нечто серьёзное и большое. Мне даже слышалось: «Как дальше жить? Чем? С какими силами? Для чего?»

В Тотьме он прожил несколько дней. В последний из них мы зашли в редакцию, где увидели Васю Елесина, возвратившегося от брата.

Зная безденежье Николая, мы с Елесиным уговорили редактора Леонида Александровича Каленистова дать Рубцову командировку.

Леонид Александрович в командировке не отказал. Но поставил условие: дать для газеты несколько материалов из жизни интеллигенции колхоза «Никольский», и если получится, то написать стихотворение, посвящённое 47-й годовщине Великого Октября.

В этот же вечер с Васей Елесиным мы проводили Рубцова на пароход. Дул свежий с запахом мёрзлой отавы северный ветер, вода в реке была синевато-зловещего цвета, с рыхлого неба срывались всплески дождя. Пароход «Леваневский», швырнув в вечернюю мглу последний гудок, оторвался от пристани, увозя пассажиров, среди которых, поеживаясь от ветра, стоял на палубе и Рубцов.

Вскоре пришло из Николы четыре письма. В первом из них, адресованном Каленистову, было стихотворение. Называлось оно «Октябрьские ветры».

*О ветры! Октябрьские ветры!
Не зря вы тревожно свистели!
Вы праздник наш, гордый и светлый,
В своей сберегли колыбели.*

*Вы мчались от края до края —
И день разгорался цветущий!
Но, прожитый день прославляя,
Мы смотрим, волнуясь, в грядущий.*

*Мы смотрим вперед, как матросы
Сквозь бури идущего флота:
Ещё ожидают нас грозы.
Работа, работа, работа!*

*Ещё беспокойны и долги
Дороги под флагом бессмертным,
Ещё на земле не замолкли
Октябрьские сильные ветры!*

Второе письмо было мне:

«Дорогой Серёжа!

Добрый день!

Я уже три дня в Николе. Один день был на Устье да в дороге. Пришлось топтать пешком. Не знаю, как бы я тащился по такой грязи, столько километров, с похмелья — с чемоданом! Хорошо, что ты любезно оставил его у себя.

Что новенького в твоей жизни? В личной и общественной?

Продолжаешь ли работать над повестью?

Вчера я отправил Каленистову заметки о той учительнице, и стихотворение. Стихотворение писать было тяжелее, ей богу! Ты сам знаешь, почему это. Можно было бы подумать ещё и над прозой, и над стихами, если б я точно знал, что ещё будут ходить пароходы. Ведь если они на днях перестанут ходить, этот мой маленький материальчик мог бы сильно задержаться, и тогда я был бы виноват перед Каленистовым.

Серёжа! Я здесь оказался совсем в «трубе». На Устье у меня потерялись (я был пьян, надо прямо сказать) или изъялись кем-то последние гроши. Сильно неудобно поэтому перед людьми в этой избе, тем более, что скоро праздник. Может быть, поскольку я уже подготовил материал, Каленистов может по-

слать мне десятку (больше мне ничего и не надо за эту командировку)? Непосредственно к нему с этим вопросом я решил не обращаться, т.к. плохо знаю его. А вообще надо бы обязательно хоть немного поддержать эту мою избушку.

Праздник я проведу здесь, а потом уеду куда-нибудь. Плохо, что здесь в Николе не найдешь никакой литературной работёнки, ни постоянной, ни временной, а без работы жить невозможно.

Здесь выпал, день назад, первый снег. Сегодня растаял. Картины за окном унылые. Грибов в лесу нет, стихи не пишутся — я как будто бы сел на мель. Хорошо ещё, что можно поразмышлять, подумать, что же делать дальше. Хорошо ещё, что в Тотьме есть ты, и можно написать тебе письмишко. Между прочим, сейчас за окном, над этой унылой дорожной грязью, над скучной осенней травой заиграло солнышко.

До свиданья, Серёжа.

От всей души желаю тебе весело проводить праздник и в остальном — всего наилучшего. Сердечный привет Любови Геннадьевне, бабушке.

С искренним приветом

Н. Рубцов. 30/X-64 г.

Может быть, найдешь минутку, чтоб черкнуть, как говорится, пару слов?»

Третье письмо — Елесину:

«Дорогой Вася!

Добрый день!

Посылаю заметку о нашем фельдшере. Редактируй её и сокращай, как хочешь (это не стихи), но только хоть что-нибудь из этой заметки надо бы напечатать. Так что, если найдёшь это возможным, предложи, пожалуйста, заметку в газету.

Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки летят!

Поздравляю с праздником. Будь здоров и счастлив. Передай, пожалуйста, привет Серёже, если он уже вернулся.

С искренним приветом Н. Рубцов.

С. Никольское».

Четвёртое письмо было снова на имя редактора:

«Уважаемый Леонид Александрович!

Пароходы, как Вы знаете, уже перестали ходить. Так что мне сейчас не выбраться отсюда в Тотьму. Машины тоже ещё долго не смогут перейти Сухону.

Поэтому я посылаю командир. удостоверение по почте — заказным письмом.

Если будет здесь скоро семинар агитаторов, я обязательно напишу о нём.

Почта начнет сейчас тяжело работать, поэтому это письмо моё может задержаться. Вы извините.

Всего Вам наилучшего!

6/XI-64 г. Н. Рубцов.

Вы очень верно сделали, что, как Вы сказали, сократили стихотв. на 2 первые строфы. Они какие-то неказистые.

Спасибо Вам, Леонид Александрович, за командировку. Она мне была нужна. Н. Р.».

Лет, наверное, через пять, когда стали у Николая печататься книги, я спросил у него:

— Почему не включил в них «Октябрьские ветры»?

— Потому, что они мне не удались. Писал я их по заказу редактора. Писал головой, тогда как надо бы было сердцем....

Мечта

В августе 1965 года несколько дней Рубцов жил в двух километрах от Вологды, в деревне Маурино, где я снимал у местного жителя крохотную квартиру. Помню, как шли поутру среди поспевших хлебов по росистой тропе.

— Это моё! — Рубцов показал на взятое золотом поле ржи, не спеша уходившее к горизонту.

— Это тоже моё — показал минут через пять на стайку вспорхнувших ласточек над забором.

— И это моё! — Палец его обводил полукругом равнину лугов, над которыми громоздились, как горы, толпы сиренево-белых туманов. Ты видишь обычное испарение. Я же — могучую конницу Чингисхана, поднимающую пыль на тысячу километров! Этот образ я забираю себе. Честное слово. Я счастлив! Этого злого гения я знаю и понимаю.

— Понимаешь?

— Представь себе. Лучше всех! Я его чувствую всеми своими костями. Я напишу поэму о Чингисхане....

Обида

Жившие в Вологде в сороковые годы в доме по улице Ворошилова, 10 соседи Рубцовых были обижены на поэта. Одна из соседок поведала мне:

«Жили Рубцовы не как все люди. Сегодня у них: спирт, мука, веселье и пир, а завтра — пусто. Особенно бедствовали они, когда Михаил Андриянович отпирывался в командировку. В такие дни у них — ни хлеба, ни дров. Мы, соседи второго и первого этажей, чем могли, тем уж и помогали. И вот читаем в стихотворении: «...Соседка злая не дает проходу...». Таких соседей не было вообще. Все относились к Рубцовым по-доброму. Хозяйка — другое дело. Её фамилия — Ульяновская. Рубцовы как раз у неё комнату и снимали. Ульяновская, правильно, никому не давала проходу, а малышам — и совсем. Работала она машинисткой. Пила. А после пьянки была злее злого вина. У неё как-то карточки потерялись. Так она взяла и свалила на Колю, хотя тот и про дело не знал. Про неё надо было писать: «не давала проходу», а не про нас».

Оснований, чтобы не верить бывшей соседке Рубцовых, нет и не было у меня. Наверное, так все и было, как рассказывает она. Думаю я, что Рубцов, применяя эпитет «злая», имел в виду именно их хозяйку, у кого стояли они на квартире. Назвал же «соседкой» её главным образом потому, что слово «хозяйка» входило бы в текст не совсем органично. Хотя убежден: знай бы поэт, что он через этот эпитет обидит хороших людей, ни за что бы его не использовал так.

Гитлер

Рубцов в раздражительном состоянии ехал рейсовым из Николы. Сидел впереди какой-то откормленно-гладкой молодки с ребёнком. Сидел, скрепя сердце: вынужден был терпеть бесконечный младенческий плач. Молодка, словно и не было с нею дитё, не обращала на плач никакого внимания, сидела, как пень, безучастная ко всему. Кто-то из женщин не выдержал и заметил:

— Ты бы, мамаша, его успокоила! Потешкала бы его! Ишь, как он сердится, бедолажка!

Мамаша капризно вильнула плечом.

— Попробуй его успокой! Пищит, как зарезанный! Фу-у! Как он мне надоел!

Младенец был крепко связан по одеялу малиновым кушаком, напоминая живую куклу. Мать, рассердясь, подняла его вверх, пошлёпала, покачала, и когда ребенок, буря лицом, затрясся в неистовом реве, швырнула рядышком на сиденье:

— Пищи!

Рубцов обернулся. Долго впивался он грифельными зрачками в лицо и открытое горло молодки и вдруг объявил:

— Гитлер!

Женщина вскинула на Рубцова обиженные глаза.

— Кто — Гитлер?

— Ты!

Не понравилось молодухе:

— С чего это ты меня, дяденька, обзываешь?

— С того, что ты — Гитлер! — опять повторил Рубцов.

— А если я тебя отвечать заставлю за оскорбленье?

Рубцов согласился:

— Готов отвечать хоть в милиции, хоть в суде. Только и там я скажу, что ты — Гитлер!

Женщина с ненавистью смотрела на Николая, готовая вот-вот вцепиться ему в лицо и разорвать его на кусочки. И всё же нашла в себе силы сдержаться и попыталась установить:

— Может, ты, дяденька, объяснишь?

Николай кивнул на зарёванное дитё.

— Ты мучаешь человека!

— А тебе что за дело! — взъярилась молодка. — Слава богу, он мой! Что хочу, то и делаю с ним!

Николай показал на бегущие за автобусом перелески:

— Ради того, чтобы жизнь у всех в лучшую сторону изменилась — ты могла бы его выбросить за окно?

Женщина выкрутила глаза.

— У кого это там у всех?

Николай обвел глазами салон:

— У тех, кто, к примеру, в автобусе едет?

— Плевала я на автобус!

Николай уступил:

— В таком случае пусть не автобус! Пускай человечество! Мало тебе его?

— Хватит! — съязвила молодка.

— Смогла бы ты ради всего человечества, — снова поставил вопрос Николай, — ради его спасения выбросить этого рёву в окно?

— Или я ненормальная?! Да пропади оно, всё человечество! На кой оно мне, если не будет дитё?! —

— Вот поэтому ты и Гитлер! — сказал, заключая, Рубцов и решительно отвернулся, забыв мгновенно про плач ребенка и молодуху: навстречу лете-

ли облепленные грачами саврасовские березы, чуть дальше — осиновая опушка, а по-за ней, через поле овса в сиянии теплых лучей — село на холме. Это была родимая мать-земля, распахнутая Россия. Как он ее понимал и нежил! И нес в своем сердце! И ничего для него в эту минуту не было дороже, чем эта бегущая вдоль дороги открытая местность. И он смотрел и смотрел в автобусное окно, запоминая все эти русские перелесицы, мостики, выгоны и деревни.

Домой

Сколько раз Николай опаздывал то к автобусу, то к пароходу, и приходилось искать попутку, с какой бы можно было отправиться в путь. Уезжал, не заботясь о том, что его не доставят до места. Пусть подкинут хотя бы на треть или четверть пути. Там, где будет его неконечная остановка, в незаметном каком-нибудь грустном селенье около чайной или поленицы дров он, подняв воротник пиджака, подождёт и усядется вновь на любой бензовоз, пятитонку или трехтонку, лишь бы транспорт имел колеса и, ревя, устремлялся вперед.

Кто считал его остановки на тракте Вологда — Тотьма? На дороге Никольское — Верхняя Толшма? Кто его видел в Чучкове и Воробьеве? В Погорелове? В Красном? В Манылове? В Бирякове? Ездил он на телегах и волокушах, на буксирах и катерах, лесовозных санях, в дровнях, розвальнях и каретах. Оттого так много стихов у него о старинной, в пыли и тумане, дороге, о храмах и кладбищах над рекой, пароходных гудках, чистых звездах, матросах и пилитримах.

Особенно часто дороги его прерывались в селе Черепаниха. Здесь надо было через реку. Но переправа за Сухону прекращалась ещё до потемок. Что делать, ежели всюду безлюдье и погашенные огни? Иногда он просился к кому-нибудь на ночь. Но чаще всего он отсюда не шёл никуда. Разжиглял костерок и сидел, прокалывая глазами наступавшую на него вологодскую темную ночь.

Тишина, плеск волны, почерневшие ёлки на косогоре, месяц на вылете из-под тучи — всюду сон и покой. А в покое том — Русь. Спит и спит и не будет конца её сну. Но поэт терпелив. Переждёт эту ночь. Переправится на пароме. А уж там, как на крыльях — домой!

Авторитет

Однажды в редакции «Вологодского комсомольца» мы спросили у Николая: — Коля, кого ты больше всего любишь из знаменитых? Не поэтов. Это мы знаем и так. А из тех, кем бы ты мог изумляться и восхищаться?

Рубцов подзадорил:

— А вы угадайте!

Тут же посыпались предположения. Кто-то назвал Эдуарда Стрельцова, великого футболиста, которым Рубцов и на самом деле всегда восторгался. Кто-то вспомнил маршала Конева, нашего земляка, о ком собирался писать в скором будущем очерк. Кто-то выкрикнул имя артиста Аркадия Райкина. Я тоже пристроил голос к хору коллег по работе, назвав должностное лицо, одной своей подписью разрешившие Николаю проблему с квартирой.

Рубцов, знай, покуривал, одобряя улыбкой всех тех, кого мы ему предлагали в авторитеты. И всё же чувствовалось, что он был с нами согласен только частично. В конце концов, он сказал:

— Ленина! — И с удовольствием пояснил: — Владимир Ильич — наш человек! Сколько лет живем без него, а вспомните, в самую трудную пору в народе всегда говорили и говорят: «Вот если бы жив был Владимир Ильич». Всем людям хотел он хорошей жизни. И нёс её, эту жизнь, Потому что он видел путь. Свой путь. И наш путь. Если бы он не вмешался в дела России, то мы бы были сейчас другими.

Кто-то спросил, как обрушил кувалдой:

— Хуже?

— Темнее, — ответил Рубцов.

Через двадцать лет после смерти Рубцова в той же редакции «Вологодского комсомольца» меня спросили:

— Сейчас везде и повсюду поганят Ленина. Как ты думаешь, был бы жив Николай Рубцов, изменил бы о нём своё мнение или нет?

Я ответил:

— В те времена мы знали Ленина, как святого, который ни в чем ни разу не погрешил. И Рубцову он был известен в основном только с этой сусальноправильной стороны. Всё дело, видимо, в том, кто из них понимал свой народ.

— Оба, наверное, понимали.

— Но если Ленин держал связь с народом через призывы, митинги и декреты, то Рубцов — через личную жизнь. Кто из них в таком случае был к нему ближе?

— Конечно, Рубцов.

- Ну раз так, то поэт ни за что не пошел бы против него.
- Против Ленина?
- Против народа.

Отличное настроение

Больше всего любил встречаться Рубцов с людьми, которых запомнил по детству, совместной учёбе, службе в морфлоте, работе и поэтическим вечерам. По тому, как его привечали в квартирах старых товарищей и друзей, он умел очень тонко подметить: какова человеку цена, в какую сторону он изменился, что осталось в нём прежнего и насколько он стал для него привлекателен или несносен. Появлялся поэт внезапно. Ждут ли, не ждут ли его, заходил в квартиру и, отдаваясь в руки хозяину, предполагал, что здесь обойдутся с ним хорошо.

После таких посещений лишь два настроения было у Николая: либо отличное, либо дурное. Отличное — это когда перед ним раскрывалась душа, было все просто, искренне и сердечно. Дурное — когда хозяин, по-дружески подавая руку и деликатно усаживая за стол, нет-нет да себя ненарочно и уличал, выражая тоскующим взглядом: «И зачем ты тут у меня? Чего у нас общего? Только то, что когда-то вместе учились. В остальном мы — чужие. Скорее бы ты отсюда ушел...». Фарисейства Рубцов не терпел. Поэтому сразу же заводился и начинал разговаривать вспылчивыми словами, которыми можно обидеть и оскорбить. Другие знакомцы были при этом так сильно уязвлены, что не желают простить Николая даже сейчас. Поэта давно уже нет, а они его ненавидят.

Неприятные встречи Рубцов обычно не вспоминал. Но те, что ему подавали чудесное настроение, он помнил долго и всякий раз, рассказывая о них, безостановочно улыбался.

Я слышал от Николая, как он гостил в семьях Феликса Кузнецова, Виктора Коротаева, Сережи Чухина, Бориса Чулкова. Слушая, четко и зримо его представлял то в уютной московской квартире, то в Вологде на крыльце деревянного дома, то в покоях крестьянской избы, то с березовой удочкой на красивой речушке Ёме. Представлял его, как веселого спутника этих семейств, что за теплую доброту, проявляемую к нему, обыкновенно расплачивался стихами.

Мне запомнились три летних дня 1968 года, которые мы провели в дороге и в Тотьме. Заполучив положенный отпуск, на пароходе «Шевченко» с женой и маленьким сыном я двинулся в путь. Вместе с нами плыл и Рубцов.

Был он чуть взбудоражен. Весь вечер мы просидели на палубе, наблюдали реку. Потом, в погустевших сумерках рассуждали о книгах.

— Ты кого читаешь сейчас? — спросил у меня Николай.

— Андрея Платонова.

— Очень хороший писатель. Но мне почему-то ближе Булгаков. И Гоголь! Бунин тоже прекрасен! А еще я люблю Аксакова за его талант, добрую память и деликатность. Как превосходно он описал поездку Гоголя в Петербург, и обратно — из Петербурга!

Николай тут же стал вспоминать этот рассказ. Позднее, лет, наверное, через пять заглянул я в аксаковский сборник и удивился, не обнаружив в нём тех подробностей и деталей, какие были в рассказе Рубцова, и понял, что многое он добавлял от себя. Добавлял, как правдивый художник, не искажая аксаковского письма, а как бы его уплотняя и убыстряя.

— О больших писателях многие вспоминают, — продолжал Рубцов свою мысль. — Аксаков о Гоголе — уважительно и тактично. А вот Катаев о Бунине — бесцеремонно. Аксакову веришь. Катаеву — нет. И вообще в нашей русской литературе самое лучшее происходит от света души. Чем сильнее свет, тем крупнее талант.

Вечер был превосходен. Запах травы, тумана и парохода. Смутно-зелёные косы толпящихся возле воды ивняков. Тень какой-то вспорхнувшей птицы. Пароход плыл и плыл. Вместе с ним плыло спокойное настроение, какое владело нами и всем окружающим миром, с которым встречались наши глаза. Жена уже дважды звала нас в каюту. Но нам не хотелось туда.

Справа, по берегу, на отставе от тесных домов деревни возникла низенькая изба. Три окна её были в свету. Из трубы валил дым. На крыльце темнели четыре фигурки едва различимых людей.

Рубцов закурил сигарету, повернулся ко мне и несерьёзным голосом, улыбаясь глазами, как бы шутя прочитал:

*Стоит изба, дымя трубой,
Живёт в избе старик рябой,
Живёт за окнами с резьбой
Старуха, гордая собой....*

На следующий день, в Тотьме, в доме моих родителей, Николай снова вспомнил ночной пароход, невысокий берег и одиноко стоящий на нем бревенчатый дом. Вспомнит и станет ходить с сигаретой по зальцу и с превеселеем, качая рукой, сочинять громко вслух продолжение начатого стиха:

*И крепко, крепко в свой предел —
Вдали от всех вселенских дел —
Вросла избушка за бугром
Со всем семейством и добром!
И только сын заводит речь,
Что не желает дом стеречь,
И всё глядит за перевал,
Где он ни разу не бывал....*

Прочтёт, поглядит на меня, как на критика, и придирчиво спросит:

— Почему ты не хвалишь меня? Или плохо я написал?

— Хорошо! Только думаю я: это не самое лучшее у тебя.

— Зато это мое настроение, — отзовется Рубцов. — А самое лучшее... Самое лучшее я ещё напишу....

Надвигается вечер

До сих пор поражаюсь, как жил Николай, не имея не только работы, но и крыши над головой в течение 1965-го, 66-го, 67-го, 68-го годов? Теперь, при всеобщей любви к поэту, всё это выглядит очень странно, в равной мере как неестественно и нелепо.

Да, сейчас по-иному бы стали мы относиться к поэту. Однако такая возможность была у нас и тогда, в те самые годы, когда Рубцов вторгался в поэзию, как самый тревожный её властелин. Что же нам помешало сделать жизнь поэту хотя бы такой, как у всех? Его тяжёлый характер, неуправляемость, нежелание жить оглуплённо и подчинённо, неумение что-то просить, кому-то нравиться. С кем-то встречаться. Всё это было против поэта. И мы, друзья его, это знали и принимали, как факт, который не опровергнешь. В этом была как беспомощность наша, так и вина. Потому и прозрачны сейчас вопросы:

Не оттого ли Рубцов так часто ездил по городам и весям страны, куда приглашали его товарищи и друзья, у кого он мог не заботиться о насущном?

Не оттого ли писал стихи свои в голове, тренируя невольно память, чтоб она заменила ему, как бумагу с чернилами, так и комнату со столом, где бы он счастливо уединился?

Не оттого ли здоровье поэта кричало о том, что оно уже больше не выдержит и сорвется?

Не оттого ли в душе его постоянно жило предчувствие, что однажды с ним приключится беда, в которой никто ему не поможет?

Всё, естественно, оттого. Жизнь, которой шёл Николай, была подобна февральскому ветру. Ветер хлестал и в грудь, и в лицо, и в самую душу. Однако он долго держался, благо была с ним рядом Поэзия, и ей он ни разу не изменял. И ещё держался он потому, что мир не без добрых людей. «Где сегодня мне ночевать?». Сколько дней в году, столько раз подступал к Рубцову этот будничный, злой, неуютный и горький вопрос.

Многие дни Николай проводил в редакции молодёжной газеты. Надвигался вечер. Стрелки часов объявляли, что кончилось время работы. Журналисты дружно и весело убирали в столы недописанные заметки, выходили на улицу и спешили домой. Лишь Рубцов не спешил. Хорошо, кабы кто его подхватил и увёл к себе на квартиру. Но такое случалось редко. Сам же Рубцов в ночлежники ни к кому обычно не набивался. Выходя на крыльцо, он одиноко пересекал асфальтированную дорогу и углублялся в аллеи сквера, где курил сигарету за сигаретой и мрачно гадал: в каком из домов для него в этот вечер откроется дверь?

Чаше всего Рубцов ночевал у Бориса Чулкова, Сергея Чухина, Виктора Коротаева, Валентина Малыгина, Льва Корешкова, да и у многих других, до сих пор неизвестных добрых людей, не привыкших кричать о своем знакомстве с поэтом. Ночевал он и у меня.

В Вологду я переехал сразу же после свадьбы, с женой. В комсомольской редакции, куда меня приняли на работу, квартир не давали, и я был вынужден сам отправиться в поиск. Нашел квартиру сравнительно быстро, правда, не в Вологде — в деревушке Маурино, в полутора-двух километрах за льнокомбинатом. Нашел квартиру на третий день, а на четвертый — шел туда после работы по теплему вечеру вместе с женой и Рубцовым.

Квартира была в виде пристроенной к дому комнаты с полом, сколоченным прямо на траве, перья которой то тут, то там пробивались в наше жилище. Николай ночевал тут четыре ночи. Утром мы уходили в город. Вечером возвращались. Дорога была живописной: заросший кубышками пруд, изгородь вдоль огородов, овсянки над ржами, которые начали жать, и промытая дождиками низинка, вся голубая от незабудок. Николай любил останавливаться в низинке. Однажды едва не встал на колени, провел рукой по цветам и сказал:

— Какие они неземные! Как будто пришли сюда из иного мира. Зачем? Ты не знаешь? — спросил у меня.

— Нет.

— И не надо нам знать. Достаточно и того, что мы смотрим на них долго и

радостно, как на небо, и никогда нам это не надоест. Во мне они вызывают успокоение. Я даже себя ощущаю христианином, как будто я в храме и вижу то, что не видит никто...

Каждый вечер, пока светло, я занимался хозяйственными делами. Николай я ни о чем не просил. Однако он сам предлагал свою помощь. В первый же вечер сходили на жниву и там набили соломой мешки, дабы было на чем ночевать. Во второй — наловили в пруду мокрых дров, распилили и раскололи. А потом сложили поленья в клетку. В третий вечер несли на себе из города металлическую кровать.

Оставалось у нас и свободное время, и мы уходили или в ближайший лужок, или к нижним посадам деревни, откуда сквозь листья вечерних берез открывался склон освещенного красным закатом ячменного поля. Николай наблюдал, как вблизи и вдали поднимался туман, вырастая клубами, похожий на белую пыль от конницы древнего Чингисхана. О Чингисхане он говорил охотно и много, удивляясь его гениальной силе ума, беспощадности и злодейству. Сравнивал хана с Наполеоном, Гитлером, Сталиным. Отмечал у каждого какую-нибудь особенную черту. Находил в них и общее.

— Человек, — сказал он однажды, — силен своей памятью. Они хотели ее умертвить, и поэтому поплатились. Отобрать от нас память — всё равно, что будущее убить. Память бездонна, а в ней от низа — а где этот низ? — до самого верку всё люди и люди. Мы тоже когда-нибудь будем среди них. И нас обязательно вспомнят. Вспомнят те, кого сейчас нет. Иногда я слышу хор голосов. Никого вокруг нет, а слышу, как будто они ко мне из будущего идут. Вот к этим, еще не родившимся, когда нас не будет, мы однажды и возвратимся. И сделает это бессмертная память, какую хотели отнять у нас разные Чингисханы....

Николай погружался в глубины раздумий. И эти глубины были видны ему постоянно, и написать об увиденном, мне казалось, не составляло поэту большого труда. Так, пожалуй, чаще всего и случалось. Рубцов, если был в настроении, глядя на ночь, любил повторять про себя только что найденную строку. Стихотворение он не вымучивал. Оно давалось ему легко. Утром он поднимался с готовой строфой, а то и целым стихотворением. Читал по дороге в город или в редакции, куда мы вскоре с ним приезжали. При этом просил указать на неточные строки. Обыкновенно никто их не находил. Тогда Рубцов садился за пишущую машинку и, отпечатав текст, давал его снова кому-нибудь почитать. «Ищите!» — задиристо улыбался. — Ищите самое слабое место!». Но мы опять ничего не могли обнаружить.

В такие минуты был Николай задорен и беспечален, день казался ему

*Человек переносит любую беду,
Он сгорает в болезненном жарком бреду,
И заносит его обезумевший снег, —
Все равно переносит беду человек!
Но как трудно, как трудно бывает тогда,
Если рядом случится чужая беда!
Если кто-то страдает у вас на виду, —
И, душой проникая в чужую беду,
Вы не в силах пройти стороною и прочь.
Но не в силах ничем человеку помочь!*

Я спросил у него:

— Это ты написал?

— Хазби! — хохотнул Николай. — Я ему лишь помог срифмовать. И ещё помогу. Вон их сколько! — Он раскрыл чемодан, взяв оттуда стопку листов. Показав мне подстрочники, тут же убрал в чемодан. — Вот приеду в Николу — сразу за них и усядусь!

Вечером Николай уехал на пароходе. До последней минуты он сомневался: брать или нет с собой чемодан? Благоразумно решив оставить, так как от пристани в Устье-Толшме идти до Никольского — 25 километров. И все по грязной дороге, пешком.

Чемодан, где среди прочих вещей находились подстрочники, привезла Рубцову в Никольское Генриетта (нерасписанная жена). Но привезла уже в зимнюю пору. Вот как об этом напишет он мне в письме:

«...Я живу же по-прежнему, среди зимней, рано темнеющей теперь скучной никольской природы. Нехотя пишу прозу, иногда стихи. Жаль, что Гета (из Николы) без твоего ведома взяла у тебя дома мой чемодан. Она бы этого не сделала, если бы не спешила на грузовик, в котором отправлялась из Тотьмы. Между прочим, я просил ее, чтоб она только подстрочники стихов Хазби взяла из чемодана, но она без тебя все равно ничего бы не нашла, поэтому унесла их вместе с чемоданом.

Что буду делать дальше, я ещё не знаю. Хочу все-таки до того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько глав повести, которую я задумал. А ещё пришла в голову дурацкая мысль записать кое-какие свои соображения о поэзии в литературной форме и дать им заголовок “Письмо другу”. Вот так, Серёжа...».

несмотря на это, её презирал, будто глумливую морду, так громоздко и нагло возникшую на его одиноком пути. — Я счастливый! Потому что я вижу то, что не видит никто!

Приблизительно через час мы возвращались с ним из столовой. Я не выдержал и спросил:

— Почему ты, Коля, считаешь себя счастливым?

Николай закурил сигарету.

— От понимания всех, кто живет на земле. Наверное, я побывал в шкуре каждого, кому тяжело или плохо. Лучше меня им никто не поможет.

— Чем же ты помогаешь?

— Поэзией, — грустно сказал Николай....

Спаси!

В разговорах с Рубцовым не каждый умел управлять своей мыслью. Хорошо, если мысль возбуждала какое-то настроение, но если она его хоронила, давила к земле, тут Николай не выдерживал, непременно вставлял резковатое слово, подчас за которым следовал спор.

Помню, как мы прогуливались втроем: я, Рубцов и еще один пожилой с презрительным взглядом на жизнь стихотворец, обиженный на весь свет, что стихи его не берут ни на радио, ни в журнал, ни в издательство, ни в газету.

— Ему что! Ему хорошо! — Неудачливый стихотворец «катил бочки» на молодого поэта, у которого только что вышла в Архангельске книга. — Его тащат! Во всём помогают! Навстречу идут! Ему и командировки! О нём и рецензии! И чего таких раньше времени выпускают! Почему бы с книгой сперва не меня? Что, я хуже пишу? А, Коля? Разве тут есть справедливость?

— Есть, — ответил Рубцов.

— Что-то тебя я, Коля, не понимаю?! Ну, где она? Где?

— В одном поэтическом предложении.

— Вот-вот! — подхватил неудачник.

Однако Рубцов его осадил:

— В предложении Тютчева. Сейчас я его прочитаю.

Стихотворец пожал плечами:

— Зачем?

— Для примера. Иной борзописец напишет целую книгу. А поэту хватило сказать об этом одной только фразы.

- О вечной любви? — иронично поддел неудачник.
- О справедливости двух поколений
- Нашего времени?
- Всех времен!
- А ещё что такое сказал в этой фразе?
- Указал путь спасения тем, кто болен спесивым задором.
- Это что же, — обиделся пожилой, — в мой адрес?
- В адрес тех, кто стоит на дороге у новых талантов. Слушай:

*Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;
От желчи горького сознания,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;
От всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор, —
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.*

После этого вечера стихотворец вообще избегал встречаться с Рубцовым. Кстати, обиженный на весь мир, он здравствует в Вологде и сегодня. По-прежнему пишет стихи. По-прежнему их не берут ни в журнал, ни в издательство, ни в газету. По-прежнему к каждому, кто выпускает книгу, питает жестокую неприязнь.

По краешку жизни

В Вологде, на Урицкого №12, где когда-то я жил, Рубцов бывал постоянно. То приходил ночевать. То просто так, выпить вечернего чаю, побалагурить о том, о сем, посмотреть телевизор и отдохнуть.

Запомнился вечер девятого мая. Теплый, непоздний, с резким запахом лопнувших почек дворовых берёз. Мы сидели на цоколе дома. Флаги вдоль улицы, блеск медали на пиджаке прошагавшего возле нас маститого с гривой серых волос старика, отдаленные вспышки ракет заставляли нас думать о чём-то тревожно-минушем, что связано было с войной, где человек проходил по краешку жизни, и мог вообще не прийти в сегодняшний день.

— Хочу увидеть героя! — Рубцов поднялся с надцокольного карниза. И не успел я опомниться, как он махнул ладонью густоволосому старику.

— Вы на войне воевали?

Прохожего возмутила бесцеремонность, с какой Рубцов обращался к нему. Он посмотрел, моргая, на Николая:

— На какой ещё там войне! Что это значит?

Рубцов потерял к нему любопытство:

— Это значит, что вы не тот, за кого я вас принял!

Старик ушёл, оскорбленно ворочая шеей. Николай закурил. Снова уселся на цоколь. Но просидел лишь минуту. В нашу сторону, стучая тростью по тротуару, шел дряхловатый, в велюровой шляпе и светлом плаще хромой горожанин. Шел он мелко и медленно, не поднимая колен.

— Вас ранило на войне? — спросил у него Рубцов.

— Нет. Я с малолетства хромаю.

И ещё одного человека спросил Николай в этот вечер. Был человек коренаст, пятьдесят с чем-то лет, при рябеньком галстуке, в чёрном костюме и капке с подломленным козырьком.

— Отец, ты награды имеешь?

— Имею! — ответил тот на ходу, и Рубцову пришлось с ним пройти до соседнего дома. — Всю войну на ногах. Четырежды ранен. Последний раз — под Берлином.

Рубцов был доволен его ответом.

— Спасибо, отец!

— Да за что?

Николай размашисто вывел руку, как бы жестом своим предлагая запомнить улицу с флагами, мирно ступающих пешеходов, тёплый закат, невысокие крыши и жёлтые трубы над ними, похожие на пасущихся в небе гнедых лошадей:

— За то, что вы сберегли для нас это!

Обладатель угла

На Красноармейскую набережную Рубцов переехал осенью 1968 года. В переезде ему помогал молодой поэт Герман Александров. Впрочем, перевезти его было легко. В те дни в комнате Николая можно было увидеть лишь старенький чемодан, балетку, стул и только что купленные в магазине каштаново-темные шторы.

Николай был по-радостному взволнован. Наконец-то после стольких лет бездомно-скитальческой жизни стать обладателем собственного угла! Правда, смущали его соседи, чуждые как по образу жизни, так и по духу люди, жившие с ним в одной и той же квартире, где общими были кухня и ванная с туалетом. Но Рубцов полагал, что меж ними ссор не возникнет. Главным была для него — отдельная комната, где он мог найти для себя отдых, покой и энергию на работу. Из окна открывалась пёстрая панорама: плёс реки, мозаика лодок, трёхпролётный, на толстых опорах мост, церковь Спаса за тополями. Не случайно здесь у Рубцова написано несколько сильных стихотворений. Среди них «Вологодский пейзаж». Стихотворение пришло к нему ночью. Как ни странно, но поспособствовал этому бесцеремонный сосед. Рубцов рассказывал:

— Этот с рыбьим лицом сосед решил меня доконать! Чуть подоплет — так ко мне, в мою комнату. Как будто клуб у меня, где развлекают! И заходит всегда без стука: «Можно, поэт?». «Нельзя», — отвечаю. А он все равно заходит. Вот и вчера поздно вечером закатил. «Почитай-ко чего-нибудь. Может, мне и понравится», — предлагает. Я ему говорю: «Для таких, как ты, я стихов не читаю!». «Почему?». «Плохо себя ведёшь!». «Как? Как?». «Антипартийно!». «Что-о! Да ты знаешь, кем я работаю?». «Мудакom!» — отвечаю ему. «Это ты мне!» — Он так и вспыхнул от возмущения: «Горкомовскому работнику? Коммунисту со стажем?». Тут я рот ему и закрыл: «Если ты, горкомовский хмырь, хоть немножко в партийных вопросах соображаешь, то помоги мне решить мировую проблему. Скажи: как прочнее соединить учение Христа и учение Ленина?». Мой сосед быстрехонько от меня — как и не был. Слава богу, избавился от нахала. Отдыхай бы, казалось! А нет. Отдых в голову не пошел. Но зато захватила заречная панорама. Так и двинулась на меня! Так в меня и вошла! Вот, послушай:

*Живу вблизи пустого храма,
На крутизне береговой,
И городская панорама
Открыта вся передо мной.
Пейзаж, меняющий обличье,
Мне виден весь со стороны
Во всем таинственном величье
Своей глубокой старины.*

*Там, за рекою, свалка бревен,
Подъёмный кран, гора песка,
И торопливо — час не ровен! —
Полоснут женщины с мостка
Своё бельё; полны до края
Корзины этого добра,
А мимо, волны нагоняя,
Летят и воют катера.*

*Сады. Желтеющие зданья
Меж зеленеющих садов
И темный, будто из преданья,
Квартал дряхлеющих дворов,
Архитектурный чей-то опус
Среди квартала... Дым густой...
И третий, кажется, автобус
Бежит по линии шестой.*

*Где строят мост, где роют яму,
Везде при этом крик ворон,
И обрывает панораму
Невозмутимый небосклон.
Кончаясь лишь на этом склоне,
Видны повсюду тополя,
И там, светясь, в тумане тонет
Глава безмолвного кремля.*

Дважды я был в этой квартире у Николая. Запомнились шторы. В первый раз я их прикреплял. Второй раз — снимал. Снимая, вздрогнул: карнизная палка переломилась.

Час спустя, на новой квартире Рубцова, по улице Яшина, куда мы приехали на такси, эту палку кое-как склеил и закрепил над окном. Карниз оказался зыбким, и шторы висели на нем ненадежно. Я предложил:

— Может, сходить в магазин и купить там новую палку?

— Нет! — Рубцов отказался. — Пускай висит надо мной, как судьба. Кто кого, интересно, переживет?

За окном был довольно унылый пейзаж. Слева — кусочек дороги. Справа — сарай. Прямо — зеленый, в жухлой крапиве пустырь. А за ним — на разных высотах — прямоугольники слепо мерцающих крыш. Я поневоле вздохнул:

— Никакого вида. Не то, что на той квартире.

— Зато нет здесь соседа с рыбьим лицом! — рассмеялся Рубцов. Потом он достал из чёрного кожаного портфеля бутылку с шампанским. Выстрелив пробкой, сказал:

— Выпьем за эту маленькую квартирку! Чтобы в ней хорошо писались стихи...

Бой часов

Порой в публикациях о Рубцове упоминается о часах в зале одной из тотемских библиотек, которые, якобы, громко тикая, мешали поэту прочесть стихи, и он попросил их остановить. Сам по себе факт достоверен. Однако несколько искажён. Нет такой в Тотье библиотеки, где бы часы своим механическим стуком мешали кому-то в ней заниматься, тем паче читать вслух стихи.

Часы помешали Рубцову и в самом деле. Но только не в зале библиотеки, а в частном доме, где я родился и где нынче живет у меня сестра.

В тот приезд — а было это в лето 1969 года — Николай появился в Тотье вдвоем — с Дербиной Людмилой. Оставив вещи в гостинице, они и пришли в этот дом, угадав на воскресные пироги. Именно здесь, в маленькой кухне с окном, выходившим во двор, где цвели георгины, Николай и читал свои новые стихотворения. Читал, пока его голос не заглушил глуховато-раскатистый бой старинных часов с медными гириями и цепями. Было восемь часов. И ударить часы должны восемь раз.

Какой из поэтов любит, когда его грубо перебивают. Рубцов был к тому же в тот вечер чем-то ещё и расстроен. Потому он прервал свое чтение и, взглянув на часы, раздражённо потребовал:

— Остановите их! Вы же слушаете мои стихи, а не эти куранты!

Маятник придержали, и Рубцов закончил чтение в установившейся тишине. Потом закурил сигарету и вновь посмотрел на высокие, в деревянном корпусе с длинным маятником часы.

— Странно! В поэзию ворвалось само время! Быть может, оно хотело меня о чем-то предупредить? — Рубцов покосился на Дербину. — Ты как считаешь?

Дербина ничего не сказала.

Рубцов в третий раз посмотрел на часы.

— Им, наверно, сто лет?

— Не меньше.

— А мне — тридцать три, но чувствую я себя старше, чем эти часы. Видимо, я обогнал свое время.

Надоело!

Помню, что тот разговор состоялся у нас в сентябре 1969 года. Собираясь в командировку, я решил заглянуть по пути на улицу Яшина, к Николаю Рубцову, чтобы вернуть ему ключ. Ключ от своей квартиры отдал мне Николай еще месяц назад накануне отъезда куда-то на юг. При этом сказал:

— Надолго ли я уезжаю — не знаю. Поэтому надо, чтоб кто-то сюда иногда заходил. Если не трудно, Серёжа.

Раза четыре, наверное, я навел пустую квартиру. И вот теперь возвращал Николаю ключ. В комнате было хотя и прибрано, но уныло. Голые стены. Прогорклый воздух. Лампочка на шнуре. Николай собирался варить себе суп. Однако раздумал:

— Э-э, надоело! — И поужинал вместо супа бутылкой кефира.

— Хорошо, что ты здесь, — сказал, выходя со мной на балкон. — Одиночество я люблю. Но порой оно тоже надоедает.

Закурив, мы смотрели с пятого этажа на зелёный пустырь, крыши ближних домов и спешившие к нам от реки кудреватые низкие тучки.

На свой поезд я опоздал и остался с ночевкой у Николая. Он принес с балкона мне раскладушку. Сам улегся спать на диван.

Свет не включали. Лежали с открытой дверью балкона. Слушали набегавшие звуки ещё не заснувшего города и не спеша вели разговор.

— Всё, казалось бы, есть, — говорил Николай, — квартира, деньги, друзья, а уже надоело.

Было мне непонятно:

— Но почему?

— Потому что всё было.

— Было?

— Всё лучшее, то, к чему человек стремится. Любовь — была. Слава — была. Жить даже стало неинтересно. — Помолчав с минуту, Рубцов прочитал знаменитую, широко известную, очень мрачную шутку:

— *Надоело лежать, надоело сидеть,*

Надо попробовать повисеть.

Я восторженно, почувствовав в шутке ужасное содержание.

— Что ты, Коля?!

Николай повернулся ко мне:

— Нет, не подумай. Я не покончу с собой. Просто я себя ощущаю на кромке обрыва. Нечего больше мне делать на этом свете. Если и буду жить, то недолго. Теперь уж никто не спасет.

— А поэзия?

— Разве только она. — Николай отвернулся к стене, закрылся наглухо одеялом. В комнате сделалось — тихо-тихо... Вероятно, поэт задумался о судьбе, которая грозно висела над ним, ничего ему в эту минуту не обещающая.

Чей характер?

От кого Рубцов унаследовал свой характер? Обстоятельно и подробно на это ответить нельзя. Можно только предположить, что умением вдохновляться и вдохновлять, зажигательным смехом, жестами, мимикой и походкой он скорее похож на отца. А задумчивой грустью глубокого взгляда густоресничных коричневых глаз, добротой и отзывчивостью души, ранимостью чувств, сострадательной нежностью и способностью радоваться за тех, у кого сегодня успех, несомненно — на мать.

А от кого музыкальный талант? Впрочем, играть на гармонике или гитаре умели все братья — и Алик, и Боря, и Николай. А сёстры Надежда с Галиной умели петь песни. И очень душевно. Галина поет и сейчас.

От сестры поэта Галины Михайловны Шведовой, живущей ныне в Череповце, я узнал, что Михаил Андриянович виртуозно играл на тальянке и хромке, пел тревожащим тенором песни и на всех посиделках был заводилой. Видимо, страстной игрой на гармошке и приманил он к себе кареглазую Шуру, свою

будущую жену. Так же, как и она приманила его к себе своим талым голосом, который был слышен не только на праздниках и вечёрках, однако и в храмовом хоре молоденьких певчих. Так и пошло по родственной линии: песня — от матери, музыка — от отца.

Жаль, что мы ничего не узнаем о деде поэта Андрияне Васильевиче Рубцове, который родился, женился и помер в трех километрах от Бирякова в деревне Самылкове. И про бабушку его Раису Николаевну тоже знаем не больше. Лишь только то, что жила она с Андрияном, пока тот не помер. После чего обрелась или в семье сына Михаила, или дочери Софии.

Как знать, может, в деде и бабке зарыта отгадка того, на кого был похож Николай, и кто из них так рельефно и крупно явил себя миру?

Знаю, что это хотели бы знать и художники-вологжане. Обо всех говорить не берусь. Лишь о тех, с кем встречался и видел работы, в которых Рубцов как бы выхвачен из былого, представ перед нами встревоженно-резким и молодым.

У Евгения Соколова он у струящейся Толшмы, среди тишины, трав и листьев, как прибывший из дальних земель на родину сын, с кем никогда уже больше не будет разлуки.

Геннадий Осиев увидел Рубцова в минуты его вдохновения, потому он — возвышенно-тонкий, исполненный света и чистоты, ну точно сама непорочность России.

Юрий Воронов создал трагического Рубцова. Словно стоит он в ночи перед светом летящего поезда, который не остановишь.

Валентин Малыгин понял Рубцова как редкого гостя Земли, к ногам которого положили цветы и поляны, зеркальные глади реки, стаю птиц и коня, ожидающего поэта, чтоб его подхватить и умчать в те края, где свергаются молнии и тревоги.

Мастера отразили в портретах Рубцова его поведение и характер, а также ту самую смертную связь, какая его скрепляла с родиной и народом.

Предсказание

Его называют пророком, когда говорят, что день своей смерти он угадал за несколько лет до неё. «Я умру в крещенские морозы...».

Его не стало действительно в эту пору. Но это не значит, что он заведомо знал, что умрет в обозначенный день. Здесь случайное совпадение. Был Рубцов величайшим из всех балагуров. А балагур — это, прежде всего, жизнелюб. И умирать он, понятно, не собирался. Тем паче в им же означенный день, о

котором так ярко сказал он в стихотворении. Да и любого возьми, что за жизнь бы была, если бы знали мы точно, когда уберёмся в иные края? Это была бы тончайшая пытка и первым не выдержал бы — поэт.

Другое дело, когда он предсказывал то, что случится у нас без него:

*Мое слово верное
прозвонит!
Буду я, наверное,
знаменит!
Мне поставят памятник
на селе!
Буду я и каменный
навеселе!..*

Стоит же памятник Николаю Рубцову в Тотьме на берегу реки Сухоны. Знаменитый скульптор Вячеслав Михайлович Клыков изобразил Рубцова в непринужденно-веселой позе, будто поэт находится дома, на берегу любимой реки.

Стихотворение стало самою жизнью, той самой, в которой исполнилась воля поэта.

А вот ещё один вещий пример:

*Мы сваливать
не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет,
Тот и правит,
Поехал, так держись!
Я повода оставил.
Смотрю другим вослед.
Сам ехал бы
И правил,
Да мне дороги нет....*

Это Рубцов о своей растерянности, о том, что не может, как все, удержаться на полном ходу, что не выдержит скачки, отстанет и навек потеряется позади.

Говорил поэт о себе, а сказал обо всех, кто в сегодняшнем дне. Все мы в хаосе быстрой езды, едем и едем себе, непонятно куда, неизвестно зачем и не знаем, что с нами будет.

Предупреждению лирика мы вняли. А ведь он через гибель свою предсказал катастрофу любого и каждого, из чьих рук вырываются повода.

Два знакомства

Начиная с 1965 года, в редакции «Вологодского комсомольца» Рубцов был постоянно. С журналистами, которых знал, был он приветлив и добродушен. К новичкам же, которых видел впервые, почему-то испытывал неприязнь, и знакомство с ними всегда начинал с каких-нибудь колкостей и придиорок.

Помню две его стычки. Одну — с Вячеславом Макаровым, молчаливым, румяного вида корреспондентом, работавшем в бабушкинской газете. Рубцов сидел за машинкой, отстукивая стихи. Готовил большую подборку. После каждого отпечатанного стиха откидывался на стуле и закуривал сигарету, изъясняя желание с кем-нибудь тотчас же побалагурить.

Мы, строчившие срочно в номер очередные статьи, не всегда могли подключиться к рубцовскому разговору. Но Вячеслав страдал от безделья, сидел за подшивкой газет напротив Рубцова, и Николай обратился к нему:

— По всему видать, человек ты загадочно-интересный. Расскажи что-нибудь.

Вячеслав рассказывать не умел.

Николай отпечатал еще один стих. И опять, закурив, посмотрел на Макарова в ожидании:

— Ну? Давай! На чем ты остановился?

Но Макаров в ответ — ни словца.

Ещё пару раз попытался Рубцов настроить Макарова на беседу, но тот лишь застенчиво улыбался.

В конце концов Рубцов рассердился и протянул в его сторону палец:

— Может, ты кем подослан сюда?

Ничего и на это Макаров ему не ответил.

Николай моментально вспылil:

— Ишь какой! Молчаливый и важный! А ты знаешь, что я не люблю, когда рядом со мной сидят и молчат?

Я почувствовал, что Рубцов сейчас может обидеть чересчур неконтактного журналиста:

— Коля! Зря! Вячеслав впервые видит тебя. Ты ему нравишься. Даже очень. Только тебе он об этом не скажет.

— Почему? — удивился Рубцов.

— Потому, что стесняется.

— Правильно он говорит? — Николай кивнул на меня Вячеславу.

Тот чуть слышно ответил:

— Ага.

— Ну вот! — хохотнул Николай. — Наконец-то и Слава разговорился!

Вторая стычка произошла в этой же комнате, когда к нам из далекой Вытегры прилетел редактор районной газеты Евгений Ермолин, шумливо-общительный журналист, незаурядный рассказчик, знаток бесчисленных анекдотов. Высокорослый, азартный, едва вошел в нашу комнату, как тут же громко заговорил со всеми и с каждым одновременно и, завладев всеобщим вниманием, не сразу заметил, что на него откуда-то из-за машинки неодобительно всматривался Рубцов.

Глаза Николая были прищурены — первый признак, что он недоволен:

— Есть же радио! Зачем ещё-то одно?

Ермолин затих, почувствовав неприютность. Николай продолжал:

— Ты кто такой, чтобы так разговаривать здесь? Говоришь, говоришь и не можешь наговориться!

— Коля! Это же Женька Ермолин! — вмешался кто-то из нас, останавливая Рубцова. — Это свой! Компанейской души человек!

Этого было достаточно, чтобы Рубцов немного повеселел, повернул какую-то шутку, и всем тотчас же стало раскованно и легко.

Ермолин засыпал Рубцова потоком восторженных междометий, а под конец, перед тем как уйти, предложил:

— Ты к нам! К нам в Вытегру приезжай! Я тебя с родиной Ключева познакомлю!

Встрепенулся Рубцов, словно сказал Ермолин о человеке, которого он считал безвозвратно пропавшим, а тот был поблизости, где-то рядом, в каких-нибудь пятистах километрах, и чтобы встретиться с ним, достаточно было ступить на трап самолета и полететь.

— Приеду, — дал Рубцов слово. — Нынче же! В крайнем случае, через год...

Однако приехать он не успел. Как не успел сделать многое из того, к чему был заранее подготовлен.

Девятое января

Улица Яшина, дом №3, 66-я квартира. Здесь, в начальные дни января Рубцов предпринял попытку создать спокойную жизнь семьянина, у которого бу-

дет жена, хорошо налаженный быт, здоровье, достаток и вдохновение к работе. Но сделать всё это было не просто. Его угнетало чувство вины перед дочерью Леной, которую он любил и хотел, чтоб она была рядом. Донимали Рубцова в те дни ещё и болезни — то грипп, то желудок, то сердце. И потому далеко не каждого, кто звонил в его дверь, он пускал на порог. Ему надоело вести разговоры на вечные темы, пить бормотуху, глядеть на похмельные лица знакомцев, выслушивать то, что они говорят, а потом ублажать их своими стихами. Шли же к нему отовсюду. Шли молодые и старые. Шли неудавшиеся поэты. Шли дилетанты. Шли алкоголики. Шли инженеры и техники. Шли журналисты. Шли те, кого не пускают домой ночевать. Шли те, кому хотелось выложить душу перед поэтом. Вся Вологда знала его, как человека, чьё сердце открыто для потрясений. И вот поднимались на пятый этаж.

В тот день девятого января мы с Васей Елесиным тоже решили его навес-
тить. Николай нас встретил, как братьев, и тут же велел Дербиной сварить
чёрный кофе, который мы прихватили с собой.

Вид у Рубцова был не из лучших. Бледность его обострившегося лица
подсказывала, что Николай невозможно устал, хотел бы покоя, в который,
если и верил, то не сильнее, чем в образ Спасителя на иконе, висевшей на
стене.

— Как она, жизнь? — спросили мы Николая.

Рубцов поставил пластинку Вертинского, ткнул в выключатель, и когда
проигрыватель запел, показал головой на кухню, куда ушла Дербина:

— Она поэтесса. И я поэт. Для семьи — это плохо. Все равно что в одной
берлоге ужиться медведице и медведем.

Мы улыбнулись, приняв слова Николая за шутку.

Кофе мы пить не стали, потому что по вкусу напоминало оно простой
кипяток.

— Почему-у? — удивился Рубцов.

Удивилась и Дербина

— Не знаю, — сказала тоненьким голоском, — На чайник я положила
чайную ложку.

Рубцов рассмеялся:

— А надо всю пачку! — и уставился на Дербину.

— Ну какая же ты хозяйка? Это тебе не чай! — И направился в кухню, чтобы
бухнуть в чайник всю пачку кофе.

Встреча у нас получилась спокойной. Голос Вертинского, задушевный и
тихий, не призывающий ни к чему, помогал нам вести разговор, листать ка-
кую-то старую книгу и читать между делом такой же старый журнал со статьей
«Есенищина и Есенин».

За окном падал снег. Рядом с нами была высокого роста, выпиравшая из одежд голубоглазая женщина с жёлтыми волосами. Семейным покоем веяло от нее. Нам с Елесиным даже поверилось, что, наверное, с ней у Рубцова будет все хорошо, устроится жизнь, уйдут все расстройства и появится одержимость взять ещё не одну поэтическую вершину. Николай хотел, чтобы мы поближе узнали женщину, на которой он собирался жениться. Найдя среди книг поэтический сборник «Сиверко», дал на время мне его почитать. На обложке книги было написано: «Любимому поэту Николаю Рубцову от Людмилы Дербиной».

Уходя от Рубцова, ни Елесин, ни я не могли допустить и мысли, что время его истекает, что через десять дней Николая не будет. Последнее, что мы запомнили, выйдя уже из квартиры, это угол стены, приоткрытую дверь и в ней Рубцова и Дербину с улыбающимися глазами. Ну, разве могли мы подумать, что Дербиной намечено стать убийцей поэта?!

Последний переход

Иногда Рубцову хотелось сойти с поэтической высоты, на какую его вознесло само провидение. Часто он говорил, что желал бы пожить на земле обыкновенным простым человеком. Переправлять ли людей на пароме, пасти ли коров на лугу, возить ли на лошади сено — где угодно и кем угодно, лишь бы душе его было спокойно, и в грудь не вламывалась тревога.

Удержаться на поэтическом склоне, с какого видны божьи дали, было не просто. Для этого он должен был открывать для себя необычные связи: зла и добра, бесстрашия и испуга, бездны и выси, радости и печали. Мир переполнен контрастами. А между ними — губительный переход. От края к краю, будто где-то внизу, под ногами его находился провал, и он в любое мгновение мог сорваться. Он не срывался, пока в его сердце сияла Поэзия, будто зажженная свечечка среди мрака, и он до конца видел путь.

Однако стихи удавались ему не всегда. В такие дни он был недоволен собой, всё кругом раздражало, и в руке появлялся стакан. Сколько раз я спрашивал у него:

— Ты, Коля, что-нибудь пишешь сейчас?

Он отвечал:

— Не пишу.

— А когда запишешь?

— Сам бы хотел об этом узнать.

— А другие? Есть же поэты, которые пишут в любом настроении. И книги выходят у них, почитай, каждый год.

— Я не завидую им. Потому что в книгах у них — не поэзия, а стихи. Стишки не от сердца, а от ума. В лучшем случае, им дадут комсомольскую премию. И забудут. Вот Тютчев! Как долго он жил! А написал лишь одну небольшую книжку. Я тоже одну напишу.

— Но у тебя их четыре!

— Не в цифре дело, а в том, что все они могут втиснуться в одну!

— Такую же, как у Тютчева?

— У Рубцова! — поправил меня Николай.

На последнем своем переходе он бы, наверное, не споткнулся. Его подтолкнули. И он сорвался. Убийцей его считается Дербина. В пылу тяжелой ссоры она задушила поэта. Однако были ещё и другие, которые тоже толкали. Они приходили к Рубцову почти каждый вечер с бутылкой водки или вина. Казалось, ими кто-то негласно руководил, давая вещую установку: спойте поэта и этим добить его здоровье, вышибить память из головы.

В те свои предпоследние дни он думал о новых стихах, о счастливом покое, о том, что в конце января сходит в ЗАГС и распишется с Дербиной, что сердцем его вновь и вновь завладеет прекрасная страсть, при которой он всех и всё будет видеть провидческими глазами.

Но он просчитался. Смерть была для него неожиданной потому, что она находилась в руках той самой, с кем Рубцов собирался связать свою жизнь.

Дербина была женщиной рослой. Слишком много в ней было сил. В Николае же — слишком мало. Здоровье его нуждалось в поправке: подорвано гриппом, сердечными болями, пьянками, ссорами, скверной едой. Дербина убивать Рубцова не собиралась. Однако в гневе не ведала, что творит. И не стало поэта, ставшего жертвой нелепо-трагических обстоятельств.

В ту угрюмую ночь на улицах города было тихо. Тихо до онемения, словно Вологда, как вдова, прислушивалась к шагам поверженного поэта, не веря тому, что его больше нет. И что он никогда уже не пройдет по её заснеженным переулкам.

Заповедная луговина

Есть в Никольском, на берегу речки Толшмы, уединённая луговина, где, как старушки в накинутах шaliaх, стоят почернелые бани. Одна из них, крайняя к косогору, помнит Рубцова, наверное, и поныне, ибо в ней поэт не только парился и плескался, но, лежа на теплом полке, принимал, как желанных гостей, приходившие в голову страстные строки.

А за банями — крытый шёлковым мятликом косогор, полого сбегающий к Толшме среди кустарников и деревьев. Здесь же — натопанная тропинка. По ней Николай спускался по воду к перекату. По ней ходил в одиночестве, сочиняя стихи.

Отсюда до самого горизонта он видел всё явное или тайное, что несла навстречу ему дорогая душе его толшменская земля. На этой земле написал Рубцов десятки стихотворений. Все они были выслушаны приезжавшими в гости к нему друзьями. Слушал эти стихи и я. В голосе Рубцова улавливалась музыка поэзии Тютчева. Часть стихов читал он по памяти, часть — по книге в бархатном переплете. В книге надпись: «Дорогому Коле от Гали и Стасика (Куняевы — С.Б.) 6-го мая 1964 года».

Книгу Тютчева хотели было похоронить, положив её в гроб около сердца поэта, чтобы он отправился в мир иной, словно вечный её читатель. Но не сделали этого, рассудив: эта книга была свидетелем оборвавшейся страсти поэта. Так что лучше ей быть средь людей. Пусть откроют её чьи-то чуткие пальцы, и с шершавых страниц, как озера в ночи, засветятся глаза Тютчева и Рубцова.

Летающий ангел

Немало летних ночей я провел возле рек. Одну из них на маленькой Иткле я потому и запомнил, что было здесь всё, как и там, невдали от Николы, на тихо струящейся Толшме. Те же цветы на воде, та же поляна, тот же холм за рекой и тот же костёр. Только небо затянуто облаками и сквозь них невозможно было увидеть воспетую Николаем Рубцовым его очищающую звезду.

Тишина. Зыбкий круг, в середине которого яркий костёр. На какие-то две-три минуты я, почти осязая, почувствовал время. Оно не столько остановилось, сколько попятилось вспять, прихватив с собой и меня, чтоб уйти на несколько лет в былое. В потёмках пологого склона слышались медленные шаги. Всё шло

на меня и шли. И мне начинало казаться, что это выходит Рубцов. Выходит он из потемок на отблеск огня, и я увижу его сейчас, увижу такого же, как и прежде, — сухошавого, молодого, в белой рубашке, с прядью волос, перекинутой через лоб, и доверительным взглядом, в котором светился вопрос: как вы тут без меня? Скучаете? Если так, то к вам я наведуясь снова. Где вы будете — дома, в дороге, среди пирующих, в диком поле — мне всё равно. Для меня теперь нет ни препятствий, ни расстояний. Я теперь, как летающий ангел. Найду вас везде. Если, конечно, вы меня ждёте. А если не ждёте, то нечего мне тут и делать.

— Ждем! — сказал я, всматриваясь в потёмки.

Но было вокруг слишком тихо и слишком пустынно. Образ поэта растаял в ночном. Время снова схватило меня, возвращая в сегодняшний день. Кусты за спиной и река за костром уже успокоились и заснули. Не спал лишь костёр — неунывающий мой товарищ с такой же искрящейся, как у поэта, душой. Гори, мой костёр! Не гасни! И подари, если можно, ещё одну встречу с летающим ангелом над рекой.

ВЕХИ ЖИЗНИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

3 января 1936 года — родился в посёлке Емецк Архангельской области. Живёт здесь до лета 1937 г.

С июня 1937 года по январь 1941 года — живёт в городе Няндоме.

В январе 1941 года семья Рубцовых переезжает в Вологду.

12 июля 1942 года Коля Рубцов с младшим братом Борей попадает в Красковский дошкольный детдом.

20 октября 1943 года с группой воспитанников Н. Рубцов переезжает в детдом села Никольского, что на реке Толшме, в 75 километрах от Тотьмы. Здесь он живёт безвыездно до 1950 года.

20 июня 1944 года за отличные успехи и примерное поведение в связи с окончанием первого класса Н. Рубцов награждается Похвальной грамотой.

1945 год — документально фиксируется написанное девятилетним Колей Рубцовым стихотворение «Зима».

Июнь 1950 года — после окончания Никольской семилетней школы уезжает в город Ригу, где пытается поступить в мореходное училище, но в связи с тем, что не достиг 16-летнего возраста, до экзаменов не допускается.

С сентября 1950 года — учится в Тотемском лесотехническом техникуме на отделении строительства, ремонта и эксплуатации лесовозных дорог.

Весной 1952 года Н. Рубцов бросает учёбу в Тотемском техникуме и после краткого пребывания в селе Никольском отправляется в скитания по Северу.

Летом 1952 года Н. Рубцов поступает на первый курс Горного техникума в городе Кировске.

Вскоре Н. Рубцов покидает Кировский техникум и в навигацию 1953 года устраивается работать в городе Архангельске на рыболовное судно тралфлота.

Осенью 1953 года приезжает на несколько дней в Тотьму.

Летом 1954 года отправляется в город Ташкент, где написал стихотворение «Да, умру я! И что ж такого...»

В 1955 году устраивается работать на одном из заводов города Ленинграда.

1955—59 годы — проходит действительную службу матросом Северного флота.

Осенью 1959 года возвращается в Ленинград, работает кочегаром, слесарем, шихтовщиком на Кировском заводе.

1962 год — выпускает в нескольких экземплярах рукописный сборник «Волны и скалы». Экстерном сдает экзамены за 10-й класс и поступает в Литературный институт имени Горького.

1964 год — участвует в областном семинаре молодых литераторов в городе Вологде.

1964 год — исключается из Литинститута.

1965 год — восстанавливается в Литинституте, но уже не на очном, а на заочном отделении.

1965 год — выходят подборки стихотворений в журналах «Октябрь», «Молодая гвардия», «Юность».

1965 год — Северо-Западное издательство выпускает первый сборник Н. Рубцова «Лирика».

Лето 1966 года — поездка на Алтай.

1967 год — издательство «Советский писатель» выпускает книгу стихотворений «Звезда полей».

1967 год — поездка вместе с писателями А. Яшиным, В. Беловым, А. Романовым, В. Коротаевым, С. Чухиным, Б. Чулковым, Л. Беляевым, Д. Голубковым, Н. Кутовым по Волго-Балту.

1967 год — поездка в село Липин Бор, где поэт подготавливает рукопись сборника стихотворений «Душа хранит».

1969 год — поездка в Рязань, в село Константиново — на родину Сергея Есенина.

1969 год — по окончании Литинститута Н. Рубцов возвращается в Вологду. Работает в штате редакции газеты «Вологодский комсомолец». В этом же году в Северо-Западном книжном издательстве выходит книга «Душа хранит».

1970 год — поездка в Великий Устюг.

1970 год — издательство «Советский писатель» выпускает последний прижизненный сборник стихотворений «Сосен шум».

19 января 1971 года — обрывается жизнь выдающегося поэта.

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕТСКИЕ ГОДЫ КОЛИ РУБЦОВА	4
ЗА ВОЛОГДОЙ, ВО МГЛЕ	28
НАДВИГАЕТСЯ ВЕЧЕР	62
ВЕХИ ЖИЗНИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА	98

Редактор — *А. А. Цыганова*

Художник — *Э. В. Фролов*

БАГРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

ЗА ВОЛОГДОЙ ВО МГЛЕ

Повествование о жизни

Николая Рубцова

Выпускающий редактор — *С. А. Тихомиров*

Компьютерная верстка — *С. Ш. Лихачева*

Подписано в набор 15.03.05. Подписано в печать 15.06.05.

Формат 70х108/32. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 4,5. Уч. изд. л. 4,5.

Тираж 999. Цена договорная.

Издательство «Книжное наследие»

Вологодской областной универсальной научной библиотеки
160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1.

ГП «Вельти». г. Вельск, ул. 50-летия Октября, 48.